

ПРОГРАММА
ОБНОВЛЕНИЕ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ

М.Ю. Брандт, Л.М. Ляшенко

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

ПОСОБИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
НЕИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Под ред. доктора исторических наук,
профессора А.А. Данилова



Москва
1994

ББК 63
Б87

Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М.

Б87 Введение в историю: Пособие для студентов пед. ин-тов неист. фак. Под ред. А. А. Данилова.— М.: АО «Аспект Пресс», 1994.— 80 с.— (Программа: Обновление туманит, образования в России).— ISBN 5-86318-066-8

В пособии в популярной форме рассматриваются некоторые ключевые проблемы исторической науки: понятие истории, особенности исторического познания, подходы к осмыслению категории всемирной истории. Отдельный раздел посвящен анализу особенностей исторического пути России.

Представляет интерес для всех, кто интересуется историей.

Б 0501000000—07
998(01)—94

ББК 63

ISBN 5-86318-066-8

© Брандт М.Ю.,
Ляшенко Л.М., 1994

В 1992 г. в рамках российской образовательной реформы была развернута программа «Обновление гуманитарного образования в России». Эта программа реализуется совместными усилиями Министерства образования России, Государственного комитета РФ по высшему образованию, Международного фонда «Культурная инициатива» и Международной ассоциации развития и интеграции образовательных систем.

Основная цель программы — гуманизация образования, создание нового поколения вариативных учебников и учебных пособий, ориентированных на ценности отечественной и мировой культуры современного демократического общества.

В целях реализации программы было организовано три тура конкурса, в котором приняло участие более полутора тысяч авторских коллективов из различных регионов России. В конкурсной комиссии работали как отечественные, так и зарубежные эксперты.

Другими направлениями программы являлись: организация творческих мастерских для авторов учебников и учебных пособий, переподготовка преподавателей гуманитарных дисциплин, создание региональных экспериментальных площадок, центров гуманитарного образования, Международного центра экономического образования, Международной лаборатории гуманитарного образования и т.д.

Спонсором программы выступил известный американский предприниматель и общественный деятель Джордж Сорос.

Данное издание представляет оригинальную авторскую работу, вошедшую в число победителей на конкурсе. Издательство с благодарностью примет отзывы, а также замечания и предложения в адрес данной работы, проходящей экспериментальную проверку в учебных аудиториях.

Стратегический комитет программы:

<i>Евгений Ткаченко</i>	<i>Эдуард Днепров</i>
<i>Елена Ленская</i>	<i>Виктор Болотов</i>
<i>Дэн Дэвидсон</i>	<i>Елена Карпухина</i>
<i>Теодор Шанин</i>	<i>Елена Соболева</i>

Конкурсная комиссия:

<i>Михаил Кузьмин</i>	<i>Нина Брагинская</i>
<i>Елена Подосенова</i>	<i>Марина Свидерская</i>

**Брандт Максим Юрьевич
Ляшенко Леонид Михайлович**

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Пособие для студентов
педагогических институтов
неисторических факультетов

Редактор Т.В. Естиферова

ЛР №090015 от 22.08.91 г.
Подписано к печати 06.04.94.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура литературная.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 5.
Уч.изд.л. 4,2 Тираж 5000 экз. Заказ № 6894

Бесплатно

АО «Аспект Пресо 111398. Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп.3.

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов.....	5
Ценность истории: Постановка проблемы.....	7
Понятие истории и ее предмет.....	10
Историческое событие и его образы	13
Что такое исторический источник?	17
Понятия, которыми пользуется историк	22
Понимание исторического процесса: теории и подходы.....	27
Всемирная история: реальность или идея?	42
Об основных особенностях древней и новой истории России.....	54
Ценность истории: попытка ответа	74
Рекомендуемая литература.....	77

ОТ АВТОРОВ

Приступая к работе, мы надеялись познакомить читателя с миром исторической науки, с «ремеслом историка», с «философией истории», с проблемами и трудностями исторического познания. В этом, собственно, и состоит основная цель данного пособия.

Мы писали об истории, стремясь не столько к новизне, сколько к широте охвата проблем, постановки вопросов, обзора концепций и мнений. Мы пытались показать парадоксальность истории, ее уникальность и многомерность. Истории, которая имеет дело с тем, что давно прошло, исчезло, отшумело, оставив лишь неясные следы и отражения в других событиях. Истории, которая должна быть объективной и беспристрастной, но вопрошает прошлое, желая понять настоящее, и потому вопросы ставит пристрастно и субъективно. Истории, которая стремится к истине и наперед знает, что в добытой историком истине всегда присутствуют его душа, его страсти, его сомнения, что, следовательно, истина эта обязательно окажется — рано или поздно — неполной, неточной, ущербной.

Короче, мы хотели показать историческую науку живой, противоречивой, полной исканий и борьбы. Мы избегали однозначных оценок и простых решений.

Помещая специальный очерк, посвященный анализу основных особенностей древней и новой истории России, мы хотели обозначить и главные из множества спорных проблем и предложить читателю спокойно, без «квасного», или, пользуясь выражением П.А. Вяземского, «сивушного», патриотизма, но и без нарочитого самоуничижения, поразмышлять над ними. Любая или невольная попытка принизить или преувеличить достигнутое Россией опасна, ибо грозит искажением смысла ее истории, ее исторической миссии, мифологизацией ее прошлого.

Таким был наш замысел. Реализован ли он — судить не нам, но и нам тоже. Не станем скрывать свои сомнения. Мы хотели написать другую книгу; та, что получилась в итоге, мало похожа на первоначальный проект: многое осталось «за кадром», о многом сказано вскользь, скороговоркой, что-то просто не получилось.

Мы надеемся, однако, что публикуемые материалы помогут сделать шаг навстречу истории, услышать ее дыхание, почувствовать биение ее пульса, ощутить напряжение нитей, связывающих настоящее с прошлым и будущим. Хочется верить, что эти надежды не совсем иллюзорны.

ЦЕННОСТЬ ИСТОРИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

— Вы еще не такие счастливые, какими я хотел бы вас видеть.

— Мы боимся, что ты отошлешь нас назад, Аслан,— ответила Люси.

— Ты так часто отсылал нас обратно в наш собственный мир.

К л а й в С т е й п л з Л ь ю и с
«Хроники Нарнии»

Вопрос этот, простой и невинный с виду, подспудно в размышлениях историка присутствует всегда: «Какой толк в твоих ученых занятиях, в чем польза от твоих трудов?» Говоря шире, в чем социальная ценность исторического знания? Какими социальными функциями оно владеет? Какая польза от науки, обращенной в прошлое, уводящей в прошлое, напоминающей о прошлом, прошлое человеческого общества имеющей предметом своего изучения?

Конечно, можно ответить кратко: прошлое — «наш собственный мир», ибо без него нет настоящего. Можно напомнить о прекрасных мыслях, в которых необходимость истории обосновывается ярко и афористично: «История в некотором смысле есть священная книга народов, главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» (Н. М. Карамзин). Можно рассказать о судьбе последней книги погибшего в фашистском застенке крупнейшего французского историка XX в. Марка Блока, книги, вышедшей после смерти автора и названной «Апология истории». Участник Сопротивления, он писал ее с ясным пониманием, что она будет последней, что жизнь на исходе. Он писал книгу, выросшую из детского желания: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?» и взрослого недоумения, услышанного в день вступления немцев в Париж в июле 1940 г.: «Надо ли думать, что история нас обманула?»

Эти ответы и рассуждения будут правильными, но очевидность истины не всегда убедительна, а скептиков,

отказывающих истории в полезности и социальной оправданности, немало. К аргументам скептиков тоже стоит прислушаться, тем более что среди них — Гегель и Ницше, Вольтер и Декарт, Поль Валери и Жан Жак Руссо.

Негативное отношение к истории простирается от ее полного неприятия как «самого опасного продукта» интеллектуальной деятельности ученых (П. Валери) до признания неизбежными ее спутниками искажения истины и неправды (Вольтер, как известно, делил всех историков на тех, кто лжет, тех, кто ошибается, и тех, кто просто ничего не знает). Для Рене Декарта главное следствие увлечения прошлым состояло в растущем невежестве относительно настоящего. Гегель, создатель одной из величайших систем философии истории, оставался сторонником мнения о бесплодности исторического знания как знания о единичных, уникальных, неповторимых и переходящих событиях прошлого: единственное, чему мы можем научиться у истории,— это тому, что она никого и ничему не учит. Руссо с большой опаской размышлял о влиянии истории на формирование личности ребенка. В ней больше примеров дурного, чем доброго; картины прошлого, заведомо искаженные, навязывают знания и убивают самостоятельность интеллектуального поиска. В чем-то созвучная с этими рассуждениями мысль Ницше (счастлив только ребенок, и именно потому, что он не способен понимать значения слова «было») обретает глобальные масштабы: «...существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или народ, или культура».

Неприятие истории становится здесь основой мирозерцания, трагического и разрушительного одновременно. И этот трагизм, оборачивающийся то усмешкой, то скепсисом, то гневом, то раздражением, увы, понятен нам сегодня больше, чем еще несколько лет тому назад. Опыт последнего времени — опыт бесспорно жестокий. Радостный оптимизм, порожденный верой в быстрое самоочищение общества, средствами подлинной и правдивой истории в том числе, омрачен пришедшим осознанием того, что историческое знание может унижать, служить орудием разрушения и катализатором ненависти. Аргументы «от истории», звучащие в перерывах между треском автомат-

ных очередей, право, ничем не лучше «исторических обоснований», включенных в тексты партийных докладов.

И вновь мы оказываемся перед вопросом о ценности истории, понимая уже, что ответ на него не может быть ни простым, ни кратким: он из тех, которые предполагают серьезный, обстоятельный разговор, исключающий согласие в выводах без глубокого анализа отправных посылок и ключевых понятий. Нам предстоит подумать о предмете нашего разговора, о понятии истории. Мы поставим вопросы о сущности исторического факта, попытаемся разобраться в специфике исторического источника, поразмышляем о терминологии исторической науки и о подходах к пониманию исторического процесса, задумаемся над проблемой своеобразия исторического пути России. И только после этого мы сможем вернуться к вопросу, с которого начали: в чем социальный смысл исторического познания?

ЦЕННОСТЬ ИСТОРИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

— Вы еще не такие счастливые, какими я хотел бы вас видеть.

— Мы боимся, что ты отошлешь нас назад, Аслан,— ответила Люси.

— Ты так часто отсылал нас обратно в наш собственный мир.

К л а й в С т е й п л з Л ь ю и с
«Хроники Нарнии»

Вопрос этот, простой и невинный с виду, подспудно в размышлениях историка присутствует всегда: «Какой толк в твоих ученых занятиях, в чем польза от твоих трудов?» Говоря шире, в чем социальная ценность исторического знания? Какими социальными функциями оно владеет? Какая польза от науки, обращенной в прошлое, уводящей в прошлое, напоминающей о прошлом, прошлое человеческого общества имеющей предметом своего изучения?

Конечно, можно ответить кратко: прошлое — «наш собственный мир», ибо без него нет настоящего. Можно напомнить о прекрасных мыслях, в которых необходимость истории обосновывается ярко и афористично: «История в некотором смысле есть священная книга народов, главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» (Н. М. Карамзин). Можно рассказать о судьбе последней книги погибшего в фашистском застенке крупнейшего французского историка XX в. Марка Блока, книги, вышедшей после смерти автора и названной «Апология истории». Участник Сопротивления, он писал ее с ясным пониманием, что она будет последней, что жизнь на исходе. Он писал книгу, выросшую из детского желания: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?» и взрослого недоумения, услышанного в день вступления немцев в Париж в июле 1940 г.: «Надо ли думать, что история нас обманула?»

Эти ответы и рассуждения будут правильными, но очевидность истины не всегда убедительна, а скептиков,

отказывающих истории в полезности и социальной оправданности, немало. К аргументам скептиков тоже стоит прислушаться, тем более что среди них — Гегель и Ницше, Вольтер и Декарт, Поль Валери и Жан Жак Руссо.

Негативное отношение к истории простирается от ее полного неприятия как «самого опасного продукта» интеллектуальной деятельности ученых (П. Валери) до признания неизбежными ее спутниками искажения истины и неправды (Вольтер, как известно, делил всех историков на тех, кто лжет, тех, кто ошибается, и тех, кто просто ничего не знает). Для Рене Декарта главное следствие увлечения прошлым состояло в растущем невежестве относительно настоящего. Гегель, создатель одной из величайших систем философии истории, оставался сторонником мнения о бесплодности исторического знания как знания о единичных, уникальных, неповторимых и переходящих событиях прошлого: единственное, чему мы можем научиться у истории,— это тому, что она никого и ничему не учит. Руссо с большой опаской размышлял о влиянии истории на формирование личности ребенка. В ней больше примеров дурного, чем доброго; картины прошлого, заведомо искаженные, навязывают знания и убивают самостоятельность интеллектуального поиска. В чем-то созвучная с этими рассуждениями мысль Ницше (счастлив только ребенок, и именно потому, что он не способен понимать значения слова «было») обретает глобальные масштабы: «...существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или народ, или культура».

Неприятие истории становится здесь основой мирозерцания, трагического и разрушительного одновременно. И этот трагизм, оборачивающийся то усмешкой, то скепсисом, то гневом, то раздражением, увы, понятен нам сегодня больше, чем еще несколько лет тому назад. Опыт последнего времени — опыт бесспорно жестокий. Радостный оптимизм, порожденный верой в быстрое самоочищение общества, средствами подлинной и правдивой истории в том числе, омрачен пришедшим осознанием того, что историческое знание может унижать, служить орудием разрушения и катализатором ненависти. Аргументы «от истории», звучащие в перерывах между треском автомат-

ных очередей, право, ничем не лучше «исторических обоснований», включенных в тексты партийных докладов.

И вновь мы оказываемся перед вопросом о ценности истории, понимая уже, что ответ на него не может быть ни простым, ни кратким: он из тех, которые предполагают серьезный, обстоятельный разговор, исключающий согласие в выводах без глубокого анализа отправных посылок и ключевых понятий. Нам предстоит подумать о предмете нашего разговора, о понятии истории. Мы поставим вопросы о сущности исторического факта, попытаемся разобраться в специфике исторического источника, поразмышляем о терминологии исторической науки и о подходах к пониманию исторического процесса, задумаемся над проблемой своеобразия исторического пути России. И только после этого мы сможем вернуться к вопросу, с которого начали: в чем социальный смысл исторического познания?

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ И ЕГО ОБРАЗЫ

— Но ведь Стремнина не течет по
оврагу,— Питер с трудом сдерживал гнев.

— Ваше Величество говорит «не
течет»,— возразил гном.— Но пра-
вильнее сказать — «не текла». Вы
знали эту страну сотни или даже
тысячу лет назад. Разве она не мог-
ла измениться?..

— Мне это не приходило в голову,
— сказал Питер.

К л а й в С т е й п л з Л ь ю и с
«Хроники Нарнии»

Было время, когда история утверждала себя как наука, обладающая специфическими предметом и процедурой познания, и вопросы об истинности исторических фактов историкам даже не приходили в голову. «В ту пору историки питали ребяческое и благоговейное почтение к «фактам». Они жили наивным и трогательным убеждением, что ученый — это человек, который, приложив глаз к окуляру микроскопа, тут же обнаруживает целую россыпь фактов. Фактов, дарованных ему снисходительным провидением. Фактов, созданных специально для него, фактов, которые ему осталось лишь зарегистрировать» (Л. Февр).

Так было в середине XIX в. Знаменитые слова немецкого историка Леопольда фон Ранке об изучении событий так, «как это было на самом деле», вполне могут служить выражением исследовательского кредо историографии тех лет. Именно такими представлениями руководствовались французские ученые Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобос при создании «Введения в изучение истории», которое долгое время было настольной книгой каждого историка. «Наивная» историография (по выражению М.А. Барга) позитивизма с беспредельным доверием относилась к добытым ею фактам истории. Это не значит, конечно, что она безоговорочно верила информации, содержащейся в имевшихся в ее распоряжении источниках. Напротив, именно в середине XIX в. были выработаны приемы, позволявшие отсеять

ложные свидетельства от достоверных, установить степень аутентичности и подлинности источников. Суть дела заключалась не в этом. Считалось, что выдержавшие испытания источники дают определенную сумму фактов, которые тождественны исторической реальности прошлого. Задача историка поэтому сводилась к добросовестному изложению добытых фактов, сообщению их читателю в полном, точном виде, свободном от субъективности интерпретаций и оценок. «Постановка проблем и выработка гипотез была... равносильна предательству — пользовавшийся такими методами историк словно бы вводил в священный град объективности троянского коня субъективности» (Л. Февр).

Историей «ножниц и клея» назвал этот подход один из самых ярких, горячих и бескомпромиссных его критиков — английский историк и философ Робин Коллингвуд. Вера в то, что объективная истина составляется из фактов, данных в источниках, прошедших процедуры строгого и пристрастного анализа на достоверность, представлялась ему ребяческой. Пассивному следованию имеющейся информации Р. Коллингвуд противопоставлял активную мыслительную деятельность исследователя, его интуицию. Историк реконструирует прошлое на основе не столько установления последовательности событий, сколько проникновения в то, что стоит за ними, — в сознание исторических деятелей.

Внешние события могут быть представлены конкретными физическими действиями людей: переход Цезарем реки Рубикон, его убийство заговорщиками в здании Римского сената. Но эти события сами по себе не являются предметом исторического знания. Они интересны историку «только в той мере, в какой они выражают мысли»: отращение Цезаря к республиканской форме правления, столкновение конституционных принципов, отстаиваемых и Цезарем, и его убийцами. «История мысли» и есть «вся история», ее познание — не результат рациональной критики свидетельств источника, а акт «сопереживания», «восстановления», «мыслительной реконструкции» прошлого, которое является в первую очередь реальностью духовной, реальностью мысли познающего субъекта, историка.

Книга Р. Коллингвуда «Идея истории», написанная в 1943 г. и вышедшая из печати лишь в 1961 г., опиралась на традицию, сформировавшуюся в конце XIX в. Если немецкий философ В. Дильтей, подчеркнув активность исследовательской процедуры в истории, определял исто-

рический факт как факт сознания историка, факт сознания познающего субъекта, то итальянец Б. Кроче придавал важное значение еще одному обстоятельству. Историк, изучающий прошлое, существует в настоящем. Прошлое познается исходя из настоящего и оживает только в настоящем: «Вся история есть современная история, история современности», и лишь в этом смысле она является научной. «Историческая наука, гордящаяся, что она основывается на фактах... живет в детском мире иллюзий. Историк хорошо знает, что смысл прошлого следует искать не в хартиях, остатках прошлого. Его источник — в собственной личности историка» (Б. Кроче). Или, говоря словами другого итальянского историка Э. Сестана, «факт, событие не являются реальностью сами по себе. Факт, о котором ни один человеческий мозг не имеет представления, не является совершившимся».

Такова суть дискуссии — «великого спора» тех, кого принято в историографии называть «позитивистами» и «идеалистами». Аргументов последних вполне достаточно, чтобы омрачить оптимизм первых, основанный на отождествлении исторической реальности и исторических фактов. Если бы так было на самом деле, то история могла бы считаться точной наукой, ничем не отличающейся от математики, физики или химии. Но чем же тогда объяснить часто observable в упрек истории обстоятельство, что различие интерпретаций и оценок даже ключевых событий и процессов является для нее обязательным условием, признаком жизни и симптомом здоровья? «Заприте десять историков в комнате (или в камере), дайте им один и тот же набор источников, и они обязательно придут к десяти различным выводам» (М. Гилдерхус). Почему?

Ответ следует искать и в особой природе исторического факта. В его определении, установлении роль субъективного начала, субъективной мыслительной деятельности самого историка действительно велика. Но не смертельно ли для исторической науки признание факта лишь «духовной конструкцией», субъективной реальностью историка, лишенной объективного содержания? Если это так, то истории следует отказаться от поиска научной истины и честно сказать, что она в лучшем случае, — род искусства, в худшем — форма проявления пустого любопытства, которое сродни любопытству бытовому. Разница только в предмете: кто-то хочет знать, что происходит в квартире соседа, кто-то интересуется прошедшими эпохами и бытом королей.

Нам представляется обоснованным другое толкование проблемы исторического факта. Исторический факт — «это «узел», «фрагмент», «связь» объективной реальности... независимой в своем бытии и значении от познающего субъекта» (М.А. Барг). Это объективно существующие факты действительности, находящиеся в определенных пространственно-временных рамках: события, процессы, явления как таковые. Содержание их не зависит от толкования. Оно инвариантно.

Есть вещи, о которых мы никогда не узнаем. Что чувствовал «третий слева в пятом ряду» французского каре в Ватерлоо, когда его командир отвергал предложение о капитуляции? Почему бездействовал Робеспьер накануне роковых для него событий 9 термидора? Кем был Лжедмитрий II?

«Разведчики прошлого — люди не вполне свободные. Их тиран — прошлое. Оно запрещает им узнавать о нем что-либо, кроме того, что оно само им открывает» (М. Блок). Исторические факты доступны историку только в качестве фактов, отраженных в источниках. Они сообщают информацию о событиях, всегда, впрочем, неточную и неполную. Тем не менее историк знает об обстоятельствах взятия Бастилии, казни Карла I Стюарта, убийства Александра II, экономического кризиса 1825 г. в Англии.

Анализ, сопоставление, преобразование этой информации приводят к тому, что рождается научный исторический факт. Он отражает реальность прошлого, реконструирует факты прошлого на основе почерпнутой из источников информации, осмысленной, преображенной его сознанием.

Структура исторического факта может быть представлена следующим образом:

Исторический факт как реальность прошлого

Исторический факт как реальность прошлого, отраженная в источниках

Исторический факт как результат научной интерпретации реальности прошлого, отраженной в источниках

Пришла пора поставить вопрос об историческом источнике. Ибо (вернемся к эпиграфу), если река все-таки текла здесь, хотя бы и тысячу лет назад, должно остаться что-то, напоминающее об этом.

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК?

— Это очень важно,— произнес Король, поворачиваясь к присяжным...

— Ваше Величество хочет, конечно, сказать: неважно...

— Ну да,— поспешно сказал Король.— Я именно это и хотел сказать. Неважно.

И забормотал вполголоса:

— Важно-неважно... Неважно-важно.

Некоторые присяжные записали «важно», а другие «неважно».

Льюис Керролл
«Алиса в Стране чудес»

Прошлое доходит до нас в определенных формах, о нем напоминающих. Эти формы обычно и называют историческими источниками. Русло реки, текшей тысячу лет тому назад и определявшей жизнь осваивавшего прибрежные долины народа, его песни и предания, язык и пословицы, орудия труда и предметы быта, хроники и летописи, хартии и тексты договоров, своды законов и записи обычаев — все это является для историков исходным материалом, оперируя которым он познает прошлое.

Одни источники представляют собой часть отошедшей в прошлое реальности, ее реликты (орудия труда, монеты, археологические памятники, культовые здания, грамоты, хартии, соглашения и т.п.). Другие сообщают о прошлом, описывая, оценивая, изображая его (летописи, хроники, художественные произведения, воспоминания, дневники, наставления и пр.). Первые принято называть остатками, дающими непосредственную информацию об исторических событиях, вторые — преданиями, сообщающими о них опосредованно, сквозь призму сознания повествователя.

Такие общие сведения об исторических источниках вряд ли позволят судить о научной ценности и достоверности содержащейся в них информации, о их значении для научного познания прошлого. В самом деле, остается непонятным, как относиться к фактам источников. Как к «кусочку»,

фрагменту объективной реальности, если речь идет об остатках? Как к факту сознания создателей исторических преданий? Соблазн противопоставить эти виды источников велик, но неплодотворен.

Любой источник является продуктом социальной деятельности людей. Любой источник субъективен, ибо отражает прошлое в форме личных, субъективных образов. Но вместе с тем он представляет собой форму отражения объективного мира, эпох, стран и народов в их реальном историческом бытии. В этом смысле исторические источники могут рассматриваться как основа познания исторической действительности, дающая возможность реконструировать события и явления социальной жизни прошлого.

Значит ли это, что исторические явления и события предстают перед историком «в готовом виде» и ему ничего не остается, как изложить их в своих сочинениях? Если бы так было на самом деле, историческая наука не преодолела бы детских заблуждений и ошибок, оставшись наивной сочинительницей волшебных сказок. К счастью, специфика исторических источников такова, что необходимость их научной критики, анализа, извлечения истинной и определения ложной информации вполне очевидна.

Поставим себя на место историка, вознамерившегося изучить предпосылки, ход, характер и значение судебного заседания, состоявшегося в известное ему время в Стране чудес. В первую очередь он займется поиском источников, главными из которых, бесспорно, станут записи присяжных. И что же? По ключевому вопросу — позиции Короля — их данные разойдутся: ведь некоторые присяжные записали «важно», а другие «неважно».

«Всегда вначале — пытливый дух» (М. Блок): изучение любого исторического источника представляет собой сложную научную задачу, предполагающую не пассивное следование за ним, но активное и пристрастное «вторжение», «вживание» в его структуру, смысл, специфику формы, содержание, язык, стиль.

Чтобы извлечь нужную информацию из источника, субъективно отражающего объективный мир, историку придется соблюдать ряд условий и правил, приспособившись к обстоятельствам, от него не зависящим. Прежде всего нужно определить подлинность источников, находящихся в распоряжении историка. Это требует от него чрезвычайно высокой квалификации. Необходимо знать очень многое: характер письма, писчего материала, особенности языка,

его лексики и грамматических форм, специфику датировки событий и употребления метрических единиц...

Но даже доказательство подлинности источника не означает, что историк может без опаски пользоваться содержащейся в нем информацией. Подлинность источника не гарантирует его достоверности. Часто извлеченные из него сведения неточны, ошибочны, ложны. Иногда причины искажения информации очевидны — достаточно, например, задуматься о том, в какой мере был осведомлен автор об описываемых им событиях или какие личные интересы преследовал, участвуя в них. Зачастую в поисках правды историку приходится проделывать скрупулезную работу, выявляя всю совокупность факторов, влиявших на достоверность сообщаемых источниками сведений. Он должен ясно представлять себе обстоятельства появления источника, личные, политические, сословные, религиозные, партийные пристрастия его создателя. Всё это важно для установления истины, без этого не пробиться к объективной основе сообщений источника о событиях.

Определение степени достоверности и подлинности источника составляет важнейшую задачу источниковедческой критики. Трудности работы с источниками этим, однако, не исчерпываются. Как уже было сказано, многое от историка просто не зависит.

Начать с того, что отдельные свидетельства, имеющие для науки огромное значение, вообще не сохранились. Часть из них содержалась в источниках, по разным причинам до нас не дошедшим. Сколько поистине бесценных для историка документов погибло в годы Великой французской революции! В огне костров и пожаров исчезли сеньориальные архивы с протоколами судебных заседаний, записями правовых норм, определявших экономическое и юридическое положение крестьянства. В огне войны 1812 г. был уничтожен список, в котором находился текст «Слова о полку Игореве», великой поэмы, обнаруженной А.И. Мусиным-Пушкиным лишь в конце XVIII в. Невозможно определить, какое количество источников унесли с собой войны, революции, перевороты, стихийные бедствия, трагические происшествия...

Но проблема состоит не только в том, что значительное число важных материалов безвозвратно утрачено. Мышление людей прошедших эпох существенно отличалось от мировосприятия современного человека. То, что представляется нам случайным, не имевшим серъ-

езных последствий, привлекало их внимание. Многие же стороны общественной жизни, кажущиеся нам чрезвычайно существенными, не нашли достойного отражения в источниках. Мы значительно лучше информированы, скажем, об образе жизни и кодексе чести европейского рыцарства XI—XV вв., чем о социокультурных представлениях крестьян. Нам лучше известна жизнь российского дворянского поместья XVIII в., чем повседневное существование отходника или рабочего человека уральской горнозаводской мануфактуры. Мы больше знаем о столкновениях правителей и войнах государств, чем о движении цен на пшеницу или вино. Иногда просто удручают лаконичность сведений древнерусских летописей, очень сжатые и в то же время расплывчатые формулировки законодательных источников того времени, краткие регистрации дел в журналах повседневной записи, ведшихся в канцеляриях приказах в правление Алексея Михайловича, или в протоколах английского парламента эпохи Елизаветы I.

Социальные стандарты восприятия и отображения действительности были совершенно иными. Чем дальше мы уходим в глубь времен, тем сложнее становится разобраться с содержащейся в источниках информацией. Историк должен овладеть тайнами такого прочтения источника, которое учитывало бы специфику «культурного кода» эпохи и особенности личности его создателя. Только тогда станет ему доступной и так называемая ненамеренная, косвенная информация, содержащаяся практически в каждом источнике. Искусство историка — это, в частности, и искусство правильно и точно ставить вопросы к источнику.

Скажем, так называемые «покаянные книги», пени-тенциалии всегда привлекались историками для характеристики целей, форм и результатов воздействия средневековой католической церкви на общество, на мирян. «Пособия» для священников, помогавшие проводить таинство исповеди, действительно дают очень много материала, позволяющего четко представить, какие сферы общественной и личной жизни находились в сфере постоянного интереса клира: «Не распевал ли ты дьявольские песни, и не участвовал ли в плясках, придуманных язычниками, которых обучил дьявол, и не пил ли ты там и не веселился ли, отбросив все благочестие и чувство любви, как бы в восторге от кончины ближнего твоего? Не гадал ли ты на книгах или на табличках, или на псалтыри и евангелиях, или на чем-то подобном? Не верила

ли ты в такую невероятную вещь или не принимала в ней участия, что якобы существует женщина, которая посредством дурных дел и заклинаний способна изменять ум людей, а именно от ненависти к любви и от любви к ненависти?» Вместе с тем они содержат богатейшую ненамеренную информацию о повседневной жизни и духовном мире средневекового крестьянства, куда, казалось, доступ исследователю закрыт, ибо это был мир, «обычно скрываемый официальным христианством» (А.Я. Гуревич).

Понятно, что каждый источник нуждается в глубоком индивидуальном изучении, учитывающем при этом необходимость комплексного исследования всех сохранившихся свидетельств о прошлом человеческого общества.

Теперь становится возможным дать более полное и точное определение исторических источников. Таковыми можно считать «все, отражающее развитие человеческого общества и являющееся основой для научного его познания, т.е. все созданное в процессе человеческой деятельности и несущее информацию о многообразных сторонах общественной жизни» (И.Д. Ковальченко, С.В. Воронкова, А.В. Муравьев).

Двигаясь все дальше по стрелке, связывающей «исторический факт, как реальность прошлого, отраженную в источниках», и «исторический факт как результат научной интерпретации реальности прошлого, отраженной в историческом источнике», мы выходим из сферы собственно источниковедческих проблем и вторгаемся в область иную. Здесь историк сбрасывает фартук ремесленника — он был нужен тогда, когда отделялись доброкачественные свидетельства от ложных, соскребался толстый слой искажений, мешавших прорваться к крупным истинным и ценным информации. Уже на этом этапе историк сопоставлял, ставил вопросы, но все это делалось как бы «вчерне», в предварительном порядке, среди хаоса фактов. Короче, это была все-таки «грязная работа». Выполнив ее, историк получает возможность надеть повседневный костюм ученого и, засучив рукава, приняться за научный анализ, интерпретацию, синтез имеющегося материала. Он может теперь строить воздушные замки теорий, решать проблемы и отвечать на вопросы: «почему?», «вследствие чего?», «каким образом?», «было ли это неизбежно?», «с чем это связано?».

Историк становится соиздателем. «Разъятая» реальность прошлого, отразившаяся в изученных им источниках, «поверяется гармонией» гипотез, концепций и выводов. Впрочем, здесь, как и везде, — «вначале было слово».

ПОНЯТИЯ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ИСТОРИК

— Меня зовут Алиса, а...

— Какое глупое имя,— нетерпеливо прервал ее Шалтай-Болтай.— Что оно значит?

— А разве имя должно что-нибудь значить? — проговорила Алиса с сомнением.

— Конечно, должно,— ответил Шалтай-Болтай.— К примеру, мое имя. Оно выражает мою суть!.. А с таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно...

Льюис Керролл
«Алиса в Зазеркалье»

Вот уж поистине диалог, который, не будь его, следовало бы придумать! «С таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно»,— негодует Шалтай-Болтай. «С таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно!» — бросает в раздражении историк практически любому понятию или термину, употребляемому в исторической науке.

Язык исторической науки чрезвычайно специфичен. В отличие от естественно-математических дисциплин она не имеет строго упорядоченной и определенной терминологии, исключаящей многозначность, двусмысленность, неясность понятийного аппарата.

С известной долей условности можно выделить три «ключа», питающие язык современной истории. Во-первых, это термины и понятия письменных (преимущественно) источников. Любой источник дает множество частных понятий, обязывающих историка установить их смысл, сферу применения и границы использования. Вот, например, краткий перечень терминов, употребленных всего в нескольких главах «Салической правды», записи обычного права салических франков начала VI в.: рейпус, вилла, тунгин, центенарий, малюс, аффатомия, рахинбург, аллод, граф, саце-барон, королевский сотрапезник, трибутарий, посессор...

Во-вторых, это термины и понятия, вырабатываемые в историографии для упорядочения, систематизации разнородного эмпирического материала. Широта обобщения может быть различной: от, скажем, понятий сословного представительства, абсолютизма, ранней тирании, принцепата, промышленного переворота до категорий средневековья, феодализма, цивилизации.

Наконец, в-третьих, это понятия и категории, на высоком уровне абстракции формируемые иными социально-гуманитарными науками: социологией, философией, антропологией, культурологией. Историк широко пользуется этими понятиями (государство, общество, культура, политика, классы, социальная стратификация, социальная мобильность), как правило, наполняя их конкретным содержанием и несколько снижая степень абстрактности, им свойственную.

Печать зыбкости и многозначности лежит на исторических понятиях независимо от того, какими путями они пришли в язык историка, сколь широкий круг конкретных явлений и фактов они отражают. Терминология источников от этого, казалось бы, должна быть свободна. Но это не так, во всяком случае применительно к большинству понятий. Слово «вилла» «Салической правды» одними трактуется как термин, обозначающий земледельческую общину франков, для других это индивидуально-семейное домохозяйство. Сложность и в том, что время, сохраняя слова, часто меняет их значение. «Вилла» времен расцвета античной рабовладельческой экономики — среднее по размеру, интенсивное, высокотоварное хозяйство; вилла современной эпохи — загородный особняк. «Самолет» в языке XVIII в. — не авиалайнер конца нашего столетия и не летательный аппарат вообще. «Буржуазия» XII в. ничем не похожа на «буржуазию», совершавшую революции в XIX в., кроме того, пожалуй, что ее представители жили в городах, тоже, впрочем, разительно отличавшихся от современных.

Казалось бы, можно избежать неточности в словоупотреблении, если говорить терминами источников, не пытаясь найти им подходящий эквивалент. Ведь в конце концов они — порождение той самой реальности, познать которую хочет историк. Увы, этот путь невозможен. Первой жертвой становится именно познаваемая реальность прошлого: нельзя пробиться к ней, не дав интерпретации терминов, ее отражающих, не включив их в систему более общих понятий и категорий. «Полагать, что терминологии до-

кументов вполне достаточно... означало бы допустить, что документы дают готовый анализ. В этом случае истории почти ничего не осталось бы делать. К счастью, это далеко не так» (М. Блок).

Поэтому словарь историка богат понятиями, которые призваны закрепить результаты анализа, классификации, интерпретации и синтеза эмпирического материала и отразить достигнутое понимание сути изучаемых явлений. Слова как таковые при этом редко изобретаются заново. Чаще происходит изменение смысла уже существующих понятий, полностью или частично заимствованных из изученных источников или языка более позднего времени. Прогресс науки обязательно приводит либо к уточнению смысла этих категорий, либо к новому их пониманию.

Традиция при этом цепко удерживает исконный смысл и значение употребляемых терминов. Многие понятия исторической науки уже в силу этого практически всегда являются дискуссионными. Жар дискуссий подогревается и тем обстоятельством, что историки, придерживающиеся разных, иногда диаметрально противоположных взглядов, пользуются единой терминологией. Различие выводов, оценок, подходов обычно не «взрывает» понятие. Оно сохраняется, но всякий раз наполняется новым содержанием.

Что такое феодализм? Говорят о существовании не менее дюжины различных интерпретаций этого всеупотребительного термина.

Что такое цивилизация? В 1930 г. увидела свет статья французского историка Люсьена Февра, посвященная исследованию эволюции этого понятия на протяжении XVIII—XIX столетий. Сегодня слово «цивилизация» применительно к характеристике исторического процесса не сходит с уст историков, вынужденных в то же время признавать, что «среди специалистов нет единства относительно того, что подразумевать под цивилизацией и цивилизациями» (М. В. Дмитриев). Даже если отбросить первоначальное обыденное значение понятия (как синонима воспитанности, светскости, умения непринужденно держать себя в обществе), остается множество различных его восприятий:

цивилизация как стадия общественного развития, следующая за дикостью и варварством;

цивилизация как стадия общественного развития, открывающаяся переходом к пашенному земледелию и завершающаяся промышленным переворотом;

цивилизация как состояние общества, признающего ценности мира, экономического процветания, порядка и закона;

цивилизация как совокупность уникальных проявлений общественных порядков, отличающих одни исторические общности от других;

цивилизация как предельно широкое понятие, обозначающее всю совокупность проявлений и предпосылок жизни человеческого общества.

И это не исключение — таково правило терминологии истории. Что такое абсолютизм? Что понимать под промышленным переворотом? Каково значение понятий средние века, Возрождение, эллинизм? За каждым вопросом о термине — проблема исторического познания, не столько терминологическая, сколько проблема сути, смысла, концепции. И всякий раз, размышляя о содержании того или иного понятия исторической науки, историк оказывается перед необходимостью обратиться к категориям более широким и абстрактным, общим для всех отраслей социально-гуманитарного знания.

Вне этих категорий познание истории как целостной реальности прошлого немислимо: государство, общество, власть, собственность, культура, классы — все это термины, в которых только и возможно отразить сущность, направления, проявления, формы социального развития и человеческой деятельности. Здесь возникает новая, не менее сложная проблема.

Историк, как уже говорилось, наполняет абстрактно-теоретическое понятие конкретным содержанием. Его интересует не общество как таковое, а, допустим, феодальное общество Франции XII в. или мир германских народов накануне их Великого переселения и сокрушения Западной Римской империи. Он изучает не государство вообще, но механизм власти и управления, свойственный «самодержавству» Ивана Грозного или Первой империи Наполеона. Тем самым он находит свою «нишу» исследования в системе социальных наук. Но, заполняя ее, историк зависит от того понимания соответствующих общесоциологических категорий, которое он примет или отвергает.

Исследуя вполне конкретное общество, историк оперирует данным понятием, имея в виду его многозначность и придерживаясь одного из определений его смысла. Скажем, он полагает, что общество есть обособившаяся

часть природы, часть материального мира, представляю-
щая собой систему взаимодействия людей между собой и
с окружающим природным миром.

Рассматривая вполне конкретное государство, историк
определяет, какая из существующих концепций госу-
дарства им разделяется. От этого зависят результаты его
собственного исторического анализа. Понимание государ-
ства как совокупности людей, живущих на определенной
территории, имеющих признанное ими правительство и вы-
ступающих в качестве юридического лица в отношениях
с другими народами, сообщает исследованию одно направ-
ление. Взгляд на государство как на систему организо-
ванного насилия одного класса над другими, понятно, за-
ставляет историка пересмотреть исходные позиции, принци-
пы изучения конкретных государственных форм, политики,
проводимой от имени государства. Видение государства
как некой целостности управляющих и управляемых,
формирующей фиксированные формы взаимоотношений
между людьми и подчиняющей общество определенным
нормам взаимодействия составляющих его единиц, по-
ставит перед историком иные ориентиры и приоритеты.

На этом уровне, таким образом, выбор терминов и их
понимание в сущности определяются методологическими
позициями историка, его общесоциологической и философ-
ской концепцией.

Итак, история не имеет строгой и точной терминологии.
Исторические понятия многозначны, неопределенны,
относительны. «Это и есть наше слабое место» — готовы
повторить вслед за М. Блоком историки.

Но будем помнить и о другом. За историческими
терминами и категориями что-то стоит, они рождаются не
только сознанием историка, но и чем-то обозначаемым
ими. Это что-то и есть реальность прошлого, на познание
которой направлены усилия ученого. Выражая эту реаль-
ность в терминах, понятиях и категориях, пусть неточных
и многозначных, историк делает решающий шаг к ее
объяснению, интерпретации и пониманию.

ПОНИМАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ

— Мы основали Нарнию,— сказал Аслан.— Теперь наше дело ее беречь... Миру этому пять часов отроду, но в него уже проникло зло.

Клайв Стейплз Льюис
«Хроники Нарнии»

«Истина заключается в том, что история — штука куда более сложная, чем обычно думают» (У. Уолш). О многих трудностях, встающих на пути исторического познания, уже сказано. О многих, но не о всех. И не о главных. Установлены источники. Оценена их достоверность. Уяснены факты. Преодолены терминологические барьеры. И что же? «Поля истории усеяны грудями камней, кое-как отесанных. Камни эти ждут толкового архитектора» (Л. Февр). Основные проблемы впереди, проблемы понимания исторического процесса, выявления связей между событиями и фактами, их объяснения и истолкования.

Анахронизмом звучит сегодня внушительная фраза, составленная Леопольдом фон Ранке: «Историю наделяли обязанностью судить прошлое, учить настоящее ради блага будущего. Данный труд не вдохновлен столь высокими помышлениями; он хочет только одного — показать, как это было на самом деле». Однако историк стремится знать не только «как это было на самом деле», но и почему так было, с чем это связано и почему не произошло иначе. Он пытается выявить факторы, определявшие движение истории, открыть ее смысл, направление, цель. Историк хочет объяснить прошлое.

Историография XX в. по духу — если не по букве — концептуальна. В основе разграничения ее направлений и школ — фундаментальные историософские различия, различия исходных принципов понимания и объяснения исторического процесса.

Состояние современной отечественной исторической науки, часто характеризуемое (по-видимому, не совсем точно) как кризисное, подтверждает сказанное. В ее недрах

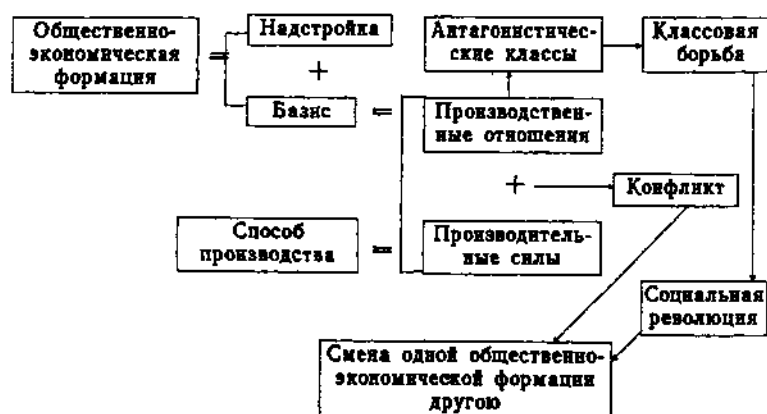
происходит сложнейший, болезненный процесс смены историософских парадигм, их обновления, пересмотра и ломки. Вектор поисков обозначен достаточно четко: разработка цивилизационного подхода к познанию исторического прошлого, выяснение его соотношений с традиционным для нашей историографии формационным взглядом на исторический процесс, с одной стороны, и принципами анализа, развиваемыми в русле «новой исторической науки», с другой.

Экономически детерминированная история (формационная теория исторического процесса).

Отечественная историография 20—80-х гг. XX столетия являлась марксистской, она опиралась на методологию, детально разработанную во второй половине XIX в. К. Марксом и дополненную Ф. Энгельсом. Важнейшим постулатом марксистской методологии истории может быть признана идея, согласно которой экономические потребности людей независимо от их воли и желания в конечном счете определяют тенденции социального развития, что экономика детерминирует социально-исторический процесс.

Данная концепция исторического развития, в конце 30-х гг. закованная в броню догматизировавших марксизм положений «Краткого курса истории ВКП(б)» И.В. Сталина, в течение ряда десятилетий была единственно признанной в нашей стране.

В максимально упрощенном виде эта концепция может быть представлена нижеследующей схемой:



1. Ключевое понятие марксистской историографии — категория общественно-экономической формации, которая понимается как исторически определенный тип общества, рассмотренный в органической взаимосвязи всех его сторон и сфер.

2. Структура формации определяется существованием базиса и надстройки. Базис представляет собой основу формации, детерминирует формационный тип. Базисом называют совокупность общественных отношений, характерных для того или иного способа производства: отношения собственности на средства производства, отношения, связанные непосредственно с самим производством, отношения, возникающие при распределении, обмене и потреблении произведенного продукта.

Социальные отношения, выходящие за пределы экономических, относят к области надстроечных. Надстройка представляет собой совокупность политических, правовых, идеологических, религиозных и иных взглядов, учреждений и отношений.

3. Характер базиса определяет тип надстройки, которая, в свою очередь, может оказывать обратное влияние на базис.

4. Производственные отношения, характерные для данного базиса, являются частью способа производства — неразрывного единства производительных сил и производственных отношений. Если производственные отношения определяет тип социальных связей, возникающих в процессе производства, то производительные силы характеризуют отношения человека и общества к природе, приспособление которой к общественным потребностям составляет важнейшее содержание производства.

5. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений имеет характер определенного закона. Подвижно изменяющиеся производительные силы обгоняют относительно статичные производственные отношения. Их несоответствие приводит в конечном счете к конфликту, являющемуся объективной основой социальных революций.

6. Социальная революция представляет собой высшую форму классовую борьбу, обязательного атрибута обществ, основанных на частной собственности и социальном неравенстве классов. Ф. Энгельс называл теорию классовую борьбу и социальных революций «великим законом движения истории», «ключом к пониманию истории».

7. Исторический процесс есть не что иное, как процесс смены общественно-экономических формаций, общих для всех или многих народов. К. Маркс выделял пять формационных типов: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, буржуазный, коммунистический. Кроме того, им признавалось также существование так называемого «азиатского способа производства».

Сказанного, пожалуй, достаточно, чтобы выделить две важнейшие характеристики марксистского видения исторического процесса. Во-первых, это взгляд на общество как на сложную систему находящихся в непрерывном взаимодействии элементов, систему подвижную, закономерно развивающуюся в пространстве и времени. Во-вторых, это обоснование возможности объяснения и анализа общества на основе детерминистского принципа «выведения» всей структуры социальных отношений из отношений собственности, производства, распределения, обмена и потребления материальных благ.

По мнению многих историков различных школ и направлений, принцип системного анализа общества, предложенный марксистской теорией, был одним из важнейших ее достижений, ее вкладом в развитие теории исторического процесса. Что касается экономического детерминизма, то он отвергается большинством исследователей как ведущий к упрощению реальной многомерной действительности и придающий самой теории элементы телеологизма.

Приведем слова Фернана Броделя, крупнейшего представителя школы «Анналов»: «Гений Маркса состоит в том, что он первый сконструировал действительные социальные модели, основанные на долговременной перспективе». Но, отмечал Ф. Бродель, «мы больше не верим объяснению истории на основе того или иного доминирующего фактора. Не существует односторонней истории».

Влияние марксизма на историографию XX столетия было чрезвычайно сильным. И это не может быть объяснено лишь политическими или идеологическими причинами. Дело в том, что формационный подход дает неплохо работающую социальную модель, которая позволяет изучать общественное развитие «сквозь призму действия факторов объективных, от человеческой воли и сознания независимых» (М. Барг); устанавливать определенную периодизацию истории общества, понимать исторический процесс как законосообразную последовательность сменяющих друг друга этапов, выявлять генетические и причинные

связи между ними; изучать взаимодействие между странами и народами, находящимися на разных уровнях развития.

В то же время следует помнить о том, что данный подход, как и любой другой, не является абсолютным, имеет определенные границы своего применения, не действует при исследовании всего спектра общественных отношений. Дело не только в том, что история многих народов и регионов не подтверждает гипотезу о всеобщем, универсальном характере исторического процесса как процесса смены общественно-экономических формаций. Экономически детерминированная история плохо справляется с проблемой «увязки» социологической схемы, ориентированной на макроуровневый анализ исторического процесса, и результатов конкретно-исторического изучения отдельных явлений, процессов и событий. Время экономических изменений течет медленнее времени политических и других «надстроечных» событий. Ритм и периодизация процессов, происходящих в других сферах жизни человеческого общества, не совпадает с периодами экономических изменений. Авторы теории не раз подчеркивали, что экономика лишь в конечном счете определяет жизнь людей и общества. Вопрос в том, возможно ли в принципе с достаточной степенью корректности измерить это детерминирующее влияние. Масштабность, степень обобщения материала при формационном подходе таковы, что события и процессы, происходящие на «мега» и «микроуровнях», просто «невидимы» для исследователя. Всякий раз возникает ситуация, подобная той, что была описана Гегелем, размышлявшим о соотношении абстрактного и конкретного в процессе познания. «Эй, старая, ты торгуешь тухлыми яйцами»,— сказала покупательница торговке. «Что? — вспыхнула та.— Мои яйца тухлые? Сама ты тухлая! Ты мне смеешь говорить про мой товар? Да сама ты кто? Твоего папашу вши заели, а мамаша твоя с французами амуры крутила! Ты, у которой бабка в богадельне сдохла!..» — Короче, она ни капельки хорошего не может допустить в своей обидчице. Она и мыслит абстрактно — подытоживает все... исключительно в свете того преступления, что та нашла яйца несвежими».

Кроме того, жесткий детерминизм — вольно или невольно — отодвигает на второй план субъекта истории, человека и человеческую деятельность. По-видимому, это неизбежное следствие применения принципов, лежащих в

основе концепции и заставляющих пренебрегать, при конкретном анализе известным предостережением самого К. Маркса: «История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека».

Все сказанное устанавливает пределы использования формационного подхода в конкретных исторических исследованиях. В этих пределах способ объяснения исторического процесса, предложенный К. Марксом, вполне действенен и дает интересные результаты. В качестве же универсального способа изучения истории во всем многообразии ее проявлений историческая теория марксизма рассматриваться не может.

«Новая историческая наука» (социальная история, антропологически ориентированная история).

Экономически детерминированная история, как уже было отмечено, долгие десятилетия безусловно преобладала в отечественной историографии. Она победила в 20—30-е гг. XX в., и ее торжество было неоспоримым в территориальных границах нашей страны. В те же годы начала свои «бои за историю» и школа «Анналов», стоявшая у истоков того, что принято сегодня называть «новой исторической наукой». Начала не без влияния марксизма (прежде всего его системного подхода к анализу общества) и с чувством глубокой неприязни к традиционной истории — той, что «романизирует жизнь Марии Стюарт, «проливает свет» на галантные похождения шеваляе д'Эона... в течение полувека исследует два последних сегмента четвертой пары чьих-то конечностей», истории «попугайской и безжизненной» (Л. Февр).

Временем победы «новой исторической науки» обычно называют 70-е гг. XX в. (К. Лукас). Сегодня, впрочем, больше пишут о трудностях и проблемах, встающих перед исследователями-победителями. Их торжество оспаривается — и в этом доказательство жизненной силы самой науки истории, не желающей абсолютного господства абсолютной теории.

Школа «Анналов», как и «новая историческая наука», никогда не отличалась жестким единством мнений разделявших ее идеи и цели историков. Не была она строга и в требованиях неукоснительного следования согласованным общепринятым принципам. Упрек в эклектизме исходных позиций и конечных выводов — один из упот-

ребительных в арсенале критиков. Описать присущие сторонникам «новой истории» представления, не исказив их, крайне непросто. Остается поэтому только прибегнуть к единственно возможному, не претендующему ни на полноту, ни на точность перечислению наиболее существенных особенностей исследовательских подходов историков.

«Экономической и социальной истории не существует. Существует история как таковая, во всей своей целостности, история, которая является социальной в силу самой своей природы» (Л. Февр). Точнее важнейшее исследовательское кредо «новой исторической науки» не сформулировать.

События политической истории или дипломатических отношений, действия лидеров или конфликты государств, войны, восстания, сражения, казни сами по себе не являются объектом исторического познания. Прошлое, человечества должно исследоваться как целостность всей совокупности социальных отношений, формирующихся под воздействием множества факторов, влияющих на жизнь человека. Это факторы экономические, географические, климатические, демографические, духовные, социально-психологические. Все, что имеет отношение к человеку и его деятельности, подлежит изучению историка, ибо здесь заключены «источники жизни» (Ф. Бродель) общества.

Идея глобальной, или тотальной, истории, по убеждению ее сторонников, подразумевает стремление к синтезу взаимодействующих и взаимопересекающихся материальных, природных, хозяйственных, социокультурных, психологических воздействий, определявших жизнь человека в его историческом прошлом. Реализация этой идеи потребовала пересмотра всего исследовательского инструментария историка, введения принципиально новых понятий и категорий, позволяющих выразить новые представления об истории и формах ее движения. Ключевыми и наиболее известными из них, бесспорно, должны быть признаны понятия «большой длительности» и «ментальности».

Глубокое влияние на разработку первого оказали фундаментальные исследования Ф. Броделя, прежде всего работа «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», опубликованная в 1949 г. Предложенный Ф. Броделем способ объяснения и анализа исторического процесса произвел «подлинную революцию» (Л. Февр).

Историческая реальность, заключенная в определенные пространственные («средиземноморский мир») и времен-

ные («эпоха Филиппа II») границы, была рассмотрена им как сложная структура, целостность которой определяется взаимодействием множества процессов, происходивших в выделенных историком слоях этой структуры. Три большие раздела книги соответствовали трем слоям исторической действительности, анализируемой Ф. Броделем. Первый раздел посвящен описанию структур, второй — конъюнктур, третий — событий.

Событийный уровень — традиционная история войн, переговоров, сражений, биографий — не представляет собой интереса для историка. Ф. Бродель включил ее в свой капитальный труд после долгих колебаний и размышлений скорее из уважения к традиции и в силу привычки. События — «лишь пыль», «краткие вспышки», которые «порой озаряют другие пласты действительности». Но миг проходит, и «тьма побеждает», реальность прошлого остается столь же непонятной и столь же таинственной.

Второй слой — конъюнктурный — может быть описан в понятиях процессов, происходящих в определенный, достаточно длительный, но доступный измерению промежуток времени. В «средиземноморском мире» это движение цен, колебания спроса и предложения, торговая конъюнктура, социальные подвижки, совершенствование военной техники, противоборство экономических тенденций, состояние финансов. Этот слой, конечно, подлежит изучению историка, но не исчерпывает его интереса к познанию прошлого.

Первый слой исторической реальности — вот главное! Вот к чему должны быть приложены исследовательские усилия историка — и только историка, ибо представители любой другой науки здесь бессильны. Структуры, собственно, и есть тот мир, где разворачивается «история людей в их тесной связи с землей, которая держит их на себе и питает». Это географическая среда, горы, равнины, острова, складки рельефа местности, торговые пути, существующие с незапамятных времен, традиционные занятия людей. Это — «геоистория», нечто «более значительное, чем история отдельных обществ и даже цивилизаций».

Внимание историка приковано к структурам почти неподвижным, находящимся вне времени, или, точнее, во времени, кажущемся застывшим. Во времени «большой длительности», говоря словами Ф. Броделя и его после-

дователей. Только «большие длительности» позволяют видеть историю как «панораму всего человечества» с развертывающейся на ней «игрой цивилизаций».

В самом широком смысле «большая длительность» и есть сама история. Только она позволяет приблизиться к пониманию конкретных, постоянных, повседневных основ жизни человека и общества. У Ф. Броделя понятие «большой длительности» тесно связано с понятием «цивилизации», для которой обязательна не только «общность в пространстве», но и «непрерывность во времени». «Большая длительность» позволяет, по убеждению историков, видеть в цивилизации нечто большее, чем преходящий комплекс культурно-исторических или социопсихологических особенностей народов и регионов. Это то, что «не умирает и не рождается», что почти неподвижно, что жизнеспособнее всех других реальностей истории. Именно поэтому историк должен помнить о специфике течения и измерения времени: реальность прошлого, сумма взаимодействующих структур, систем и слоев живет в разных потоках времени — стремительных изменений и почти незаметного движения. Последнее дает ключ к пониманию прошлого на основе постоянства и непрерывности его развития.

Понятие «ментальности» появилось в арсенале историков «новой исторической науки» благодаря работам М. Блока и Л. Февра, но популярность приобрело позже. Сегодня это слово можно услышать не только от историка или философа, но и от политического деятеля или хозяйственного руководителя. Между тем понятие ментальности остается одним из наиболее расплывчатых терминов, плохо поддающихся жесткому определению.

Воспользуемся пояснением французского историка Жоржа Дюби, усилиям которого, в частности, «новая историческая наука» обязана утверждением понятия ментальности. По его словам, «это система (именно система) в движении, являющаяся предметом истории, но при этом все ее элементы тесно связаны между собой; это система образов, представлений, которые в разных группах или стратах, составляющих общественную формацию, сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей... Все взаимоотношения внутри общества столь же непосредственно и закономерно зависят от подобной системы представлений... как и от экономических факторов».

Ментальность мыслится как мир веры, символов, культурных образцов, устойчивых стереотипов восприятия, часто не осознанных полностью, потаенных от самих их носителей (А. Я. Гуревич). Этот мир реален и объективен, он подчинен току времени «большой длительности». Это одна из тех устойчивых, непрерывных и малоподвижных структур, которая, наряду с окружающей природой, экономической и социальной организацией, составляет необходимую предпосылку исторической действительности.

Введение категории ментальности позволило историкам осуществить казавшееся невозможным: увидеть мир прошлого глазами самой эпохи. Исследовательский горизонт исторической науки был тем самым существенно расширен.

Понятно, что реализация данной исследовательской программы с неизбежностью потребовала признать, что, во-первых, история, замкнутая в себе и не обогащенная методами, категориями, открытиями других социально-гуманитарных научных дисциплин, окажется не в состоянии вести анализ на необходимом уровне проникновения в толщи многослойной реальности прошлого и, во-вторых, история, отвергающая творческую активность ученого и отводящая ему роль пассивного собирателя фактов, останется наукой, в которой «вообще ничего нет» (Л. Февр), «глупой историей» (П. Шоню).

Отсюда и акценты, которые изначально были присущи школе «Анналов» и которые остаются в силе сегодня. История должна быть наукой полидисциплинарной, синтезирующей методы и выводы географии, экономики, социологии, лингвистики, психологии, этнографии, антропологии.

«...Наша первейшая задача состоит в том, чтобы прислушиваться к советам со стороны. Быть в курсе чужих достижений...» (Л. Февр). «Ни в одной науке пассивное наблюдение не было плодотворным» (М. Блок).

Наконец, еще один, вероятно, важнейший принцип «новой исторической науки», сформулированный М. Блоком: «Что же происходит всякий раз, когда, по-видимому, требуется вмешательство истории? — Появление человеческого». Известное уподобление историка «сказочному людоеду», знающему, что его добыча там, «где пахнет человечиною», как нельзя лучше отражает исходный смысл того поворота, который пытаются совершить сторонники «новой исторической науки». Предмет истории — человек,

и потому сама история должна сделать мужественный шаг, чтобы стать антропологической, или, быть может, заявить о себе как об исторической антропологии (Ж. Ле Гофф, А. Я. Гуревич, Ж. Дюби). Искомая тотальность глобальной истории может быть реализована, полагают они, лишь через познание действующего человека — носителя цивилизации и ее порождения.

Попытаемся вычленить некоторые характерные черты видения истории, присущие историкам «новой исторической науки».

Во-первых, признание и обоснование эффективности системного анализа общества. Социальное целое есть сложная система, распадающаяся при логическом рассмотрении на множество подсистем, внутренне единых и взаимодействующих между собой.

Во-вторых, внимание к объективным процессам, происходящим на разных уровнях социального целого в различных временных потоках, включенных в «большую длительность» существования непрерывных и преемственных структур.

В-третьих, отрицание детерминизма и понимание истории как сложного функционального взаимодействия многих систем, процессов и компонентов исторической реальности прошлого.

В-четвертых, подчеркнутое осуждение «событийной истории», констатация невозможности «увидеть» действительность прошлого сквозь призму в хронологической последовательности расположенных событий истории. «Видимая действительность заменяется реконструированной реальностью» (В. Вжозек), в пределах которой вычленяются не события, но объективные системы и процессы (включая ментальность).

В-пятых, выдвижение концепции «тотальной», или «глобальной», истории, синтезирующей структуры, процессы, их взаимодействия в единую целостность исторической реальности.

Достижения «новой исторической науки» впечатляют: разрабатываются проблемы, ранее даже не встававшие перед историками, поднимаются целые пласты, скрытые от взгляда исследователя. Написаны история смерти, история климата, история представлений о времени и пространстве, история детства, история отношения к женщине, история семьи и брака. История приобрела новую глубину и целостность, очевидными стали мно-

гослойность исторической реальности и многозначность разнотекущих потоков времени. Существенно модифицирован сам предмет исторической науки.

Многое открыв и на многие вопросы ответив, школа «Анналов» и «новая историческая наука» поставили еще больше проблем, далеких от разрешения. «Тотальная» история остается идеальной целью; синтезировать в целостность исторической реальности все ее уровни, системы и компоненты пока не удастся. Она скорее распадается на отдельные аспекты и фрагменты, чем предстает действительным, значимым единством. Синтеза микроистории (истории локальных вариантов развития, о которых сегодня известно неизмеримо больше, чем несколько десятилетий назад, отдельных социальных систем) в макроисторическую концепцию, выявляющую общие черты и направления движений всемирной истории, пока не получилось.

Отказ от «событийной истории», переключив внимание на объективные структуры и процессы, создал тип «социально и ментально обезличенного «массового человека», целиком и полностью сформированного временем, а не формирующего историческое время» (М. А. Барг).

Концепция «большой длительности», бесспорно, выдающееся открытие «новой исторической науки», не может быть механически соединена с линейными представлениями о движении исторического времени и самой истории, но вне этих представлений история оказывается и вне времени. Болезненным, наконец, представляется вопрос о соотношении «реальной действительности» прошлого и «реконструируемой действительности», возникающей в процессе исторического исследования.

Повторим, эти проблемы далеки от разрешения. Часто акцентируемые критиками и оппонентами, они активно обсуждаются сторонниками данных исследовательских подходов. Восстановление в правах исторического события и событийности истории, возрождение интереса к изучению конкретных исторических личностей, интенсивные поиски ответов на вопрос о связи субъективной деятельности людей и объективных процессов — таковы некоторые тенденции нынешнего этапа развития и школы «Анналов», и «новой исторической науки».

Быть может, в спорах и столкновениях создается «стартовая площадка для новой историографии XXI века?» (Л. П. Репина).

Цивилизационный подход к исследованию истории.

Какое место на этой стартовой площадке займет конструкция, возводимая усилиями сторонников «цивилизационного подхода» к объяснению и анализу исторического процесса, интенсивно разрабатываемого в отечественной историографии в последние годы?

Уместен ли, впрочем, столь категоричный вопрос в отношении концепции, находящейся в состоянии становления и далекой от завершения? Концепции, в рамках которой, по авторитетному мнению ее наиболее энергичных сторонников, «не существует и намека на консенсус» по принципиальным проблемам ее общей теории.

Корректнее и точнее, пожалуй, будут другие вопросы: чем объясняется необходимость разработки цивилизационного подхода? Какие перспективы познания исторического процесса он открывает? В чем его новизна?

Идея цивилизационного анализа, бесспорно, возникла в отечественной историографии не случайно. С одной стороны, она порождена кризисом догматизированной формационной теории как универсального принципа объяснения истории в целом (М.А. Барг, Л.И. Новикова). С другой стороны, усилиями в первую очередь историков школы «Анналов» были открыты новые пласты исторической реальности, теоретическое осмысление которых требует выработки иных способов анализа и объяснения исторического прошлого. Центр тяжести переместился с изучения объективных процессов общественного развития на его субъективную сторону, на человеческую деятельность. Между тем, по мнению сторонников цивилизационного подхода, именно проблема «человеческой субъективности» в теоретических построениях «новой исторической науки» не находит убедительного разрешения (М.А. Барг). Введение категории «цивилизация» и ее разработка должны, по их убеждению, связать воедино объективные и субъективные факторы движения истории. При этом цивилизационный подход многими его сторонниками рассматривается не как антитеза подходу формационному, а как попытка их взаимного дополнения и синтеза. Если применение категории «формация» позволяет глубоко проникнуть в мир производственных отношений, собственности, механизмы социальной борьбы, то взгляд на общество сквозь призму цивилизационного анализа должен привести к успеху в исследовании истории культуры, социальной психологии, ментальности, этнических процессов.

Формационный анализ воссоздает человеческое общество на высоком уровне абстрактно-теоретического обобщения — уровне объективных закономерностей и связей. Цивилизационный подход направлен на исследование общества во всем многообразии проявлений его жизни и существования — многообразии действия субъективных факторов его развития.

Таков, в самом сжатом и беглом изложении, замысел. Его реализация — дело огромной сложности. Каждый новый шаг в разработке теории цивилизационного анализа — это поиск ответов на вопросы принципиального значения. Что же все-таки понимать под цивилизацией? (О многозначности этого понятия подробно говорилось выше.) Как соотносятся понятия формации и цивилизации? Взаимодополнимы ли в принципе формационный и цивилизационный взгляды на исторический процесс? Допустима ли характеристика цивилизаций как стадий исторического развития? Возможно ли применение в цивилизационном анализе традиционных категорий исторического закона и исторической закономерности? Как соотносятся многообразие цивилизаций и попытки их типологического анализа? Не исключает ли сам факт многообразия цивилизаций возможность их сравнительного изучения? Какова структура цивилизации? Не является ли, наконец, категория цивилизации настолько широкой и неопределенной, что не создает необходимых предпосылок для научного объяснения исторического процесса?

Вопросы, от которых не уйти: за многими из них — сомнения в эффективности, познавательной ценности цивилизационного анализа. Что это? Признак слабости концепции? Конечно, нет. Доказательство ее новизны? Безусловно. Стимул к углублению анализа теоретических начал концепции? В первую очередь так.

Вернемся к эпиграфу: «Мы основали Нарнию... Теперь наше дело ее беречь... Миру этому пять часов отроду, но в него уже проникло зло».

Вряд ли историк должен воспринимать эти слова как указание к действию. Любая теория, предлагающая принципиальные подходы к объяснению исторического процесса, сколь бы сильной и логичной она ни была, не может претендовать на статус единственно верной. В конце концов «экономическая интерпретация американской конституции никоим образом не дезавуирует результатов ее изучения с политических, идеологических или институ-

циональных позиций. Она просто добавляет к ним новое измерение» (Ч. Берд).

Сомнения, дискуссии, обнаружение слабых мест, уязвимость на пределы применимости — не «зло», от которого нужно «беречь» непорочную девственность теории. Историческая действительность слишком сложна, смысл истории слишком многозначен, чтобы, не создавая иллюзий, надеяться на появление когда-либо «абсолютной теории», «теории теорий», тьму обращающей в свет.

Истина есть не что иное, как движение к ней. «Презирать то, что мы не можем постигнуть,—опасная смелость, чреватая неприятными последствиями... Сколь многое еще вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается нами как басни!» (М. Монтень). Будем помнить об этом.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИДЕЯ?

— Разве десять ночей теплее, чем одна? — рискнула спросить Алиса.
— В десять раз теплее, конечно!
— Но, вероятно, и в десять раз холоднее! — заметила Алиса.
— Совершенно верно! — вскричала Черная Королева.— В десять раз теплее и в десять раз холоднее!

Льюис Керролл
«Алиса в Зазеркалье»

Всемирна ли всемирная история? Сливаются ли отдельные ручейки — истории стран, народов, культур, регионов, цивилизаций — в мощный поток единого в своих основах исторического процесса?

Хаос случайных явлений, уникальных событий, неповторимых человеческих судеб, войн и сражений, дипломатических дуэлей и политических схваток, скопления людей и поселений, разбросанных на огромных пространствах земной поверхности, сотни государств, тысячи языков, десятки тысяч племен — таков мир истории.

Чем больше мы знаем о нем, тем в большем многообразии предстает он перед нами. Но, вероятно, с тем большей настойчивостью ищем мы то, что позволяет понять историю как единый, всемирный процесс, в котором специфические особенности эпох и культур подобны фрагментам сложного многофигурного живописного полотна. Фрагментам, лишенным всякого смысла вне связи с другими, вне связи с целым, вне единого в основе своей замысла. В сущности, вопрос о единстве человеческой истории есть вопрос о ее смысле и целях. Это ключевой вопрос любой системы философии истории, любой историософской концепции.

«Итак, мы видим, что Ты сделал, ибо мир существует, но существует он потому, что Ты его видишь. Глядя на внешний мир, мы видим, что он существует; думая о нем, понимаем, что он хорош; Ты тогда видел его уже созданным, когда увидел, что нужно его создать... Кто из людей поможет человеку понять это? Какой ангел ангелу? Какой

ангел человеку? У Тебя надо просить, к Тебе стучаться: так, только так ты получишь, найдешь, и тебе откроют», — заключал святой Августин епископ Гиппонский, крупнейший христианский мыслитель средневековой Европы, свою знаменитую «Исповедь». Идея единства истории, подробно обоснованная им в трактате «О граде Божьем», отразилась и в этих словах.

История рода человеческого — результат творения Бога; ее ход и судьба человечества predeterminedены в момент творения; борьба «града Божьего», мистической общины избранных к спасению и жизни вечной, и «града земного», детей земли, озабоченных преходящим и материальным, завершится вторым пришествием Господа, и «Божьи дети», закончив земной путь, «отдохнут в Его святости и величии».

Единство человеческой истории, движущейся между крайними полюсами творения и второго пришествия, — это единство Божественной воли, воплощающейся в созданном ею человечестве. Единство человечества во времени земной истории, которая проходит через определенные стадии («шесть веков», или состояний, «шесть возрастов» — от младенчества до старости, «четыре монархии» — вавилонскую, персидскую, греко-македонскую и римскую), воплотится в единстве Божьих избранных, «граде Божьем», находящемся вне времени и вне истории. «Ты видишь вне времени, действуешь во времени и отдыхаешь вне времени — но нам даешь видеть во времени, создаешь само время и покой по окончании времени».

Грандиозная историософская схема, которой жило все европейское средневековье и которая лежит в основе не только «хроник», «анналов» и «историй», написанных в то время, но и творений Данте, Микеланджело, Генделя, Верди, Бетховена. Понятно, что история рассматривалась Августином «сквозь призму догмы христианства» (М.А. Барг), и, быть может, поэтому идея ее единства, единства исторических судеб человечества, безусловно, стала частью западноевропейской историософской традиции, оказывала сильнейшее влияние на крупных ее представителей.

Итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико (1668—1744), подобно Августину, решающим фактором единства человеческой истории признавал Божественное провидение. Однако он обосновывал иной взгляд на течение исторического процесса. История движется по кругу, и каждый народ проходит стадии, или эпохи, смена которых

определяется принципами их внутреннего развития. Первая эпоха — «век богов», когда люди убеждены в том, что события их жизни непосредственно определяются волей божеств и эта воля передается через отцов семейств, патриархов. Вторая эпоха — «век героев», время господства аристократии, убежденной в своем естественном превосходстве и праве повелевать. Третья эпоха — «век людей», «век человеческий»: люди признают себя равными в их естественной природе и учреждают сначала демократическое, а затем монархическое правление. В каждой эпохе Дж. Вико видел определенную целостность, воплощавшую специфический комплекс форм правления, языка, культуры, права, человеческих типов. «Век богов» сменяется «веком героев», «век героев» — «веком людей», но это — не линейное движение, ибо «век людей» порождает «новое варварство», утрачивает жизненную силу, приходит в упадок и гибнет — с тем, чтобы вновь повторить этот вечный цикл, непрестанное круговращение. Впрочем, если гибнущее общество подвергается завоеванию и включается в иное, переживающее «век богов» или «век героев», то цикл повторяется уже на новом уровне, и тогда движение истории может быть представлено в форме спирали, обеспечивающей преемственность между совершающими свой кругооборот обществами.

Единство истории, по убеждению Дж. Вико, в Божественной воле, но и в универсальности стадий, через которые проходят отдельные народы. «Таким образом, мы получили идеальную историю Вечных Законов, соответственно которым движутся деяния всех Наций в их возникновении, движении вперед, состоянии упадка и конце» (Дж. Вико).

Иначе развивалась идея единства всемирной истории в «философствующей истории» мыслителей Просвещения. Три момента обращают на себя внимание. Во-первых, движение истории рассматривалось как прогресс, как смена низших форм высшими. Мерилом прогресса служило развитие науки, культуры и просвещения. Во-вторых, понимание провиденциализма как Божественного произвола было отвергнуто. Теологическое обоснование единства человеческой истории уступило место рационалистическому. В-третьих, основным фактором этого единства философы Просвещения считали неизменность и универсальность человеческой природы.

Понятие прогресса оказывалось в представлениях просветителей ключевой категорией, обеспечивавшей преемст-

венность и всеобщность мировой истории. Взгляд, конечно, лишенный искусственности, но слишком уж прямолинейный и односторонний, чтобы выдержать испытание потрясениями, революциями, длительными войнами, кризисами. Реакцией на увлечение мыслителей Просвещения стала популярность концепций, в которых идея всемирной истории вытеснялась «культом индивидуального», акцентировкой специфики каждого народа и культуры (М. Барг). «Люди, пережившие Революцию и Империю... узнали, что цивилизация может умереть, и узнали они это не из книг» (Л. Февр).

Подчеркнем отмеченное выше обстоятельство: идея всемирной истории, вопрос о ее единстве, в сущности, есть вопрос о целях и смысле истории. Философия истории Гегеля, как и философия истории К. Маркса, это с очевидностью доказывают.

Гегель, выдающийся мыслитель, представитель немецкой философии конца XVIII — первой половины XIX в., представлял исторический процесс как всемирный, единый и целостный. История, собственно, и интересовала его постольку, поскольку за внешним беспорядком неповторимых и уникальных событий, за вереницей народов и деятелей, героев и простаков, победителей и побежденных, за рождением и крахом империй, драмами людей и государств скрывалась общность мотивов, целей и закономерностей общественно-исторического развития.

Человеческая история, согласно историософской теории Гегеля, представляет собой не что иное, как этап развития истинной основы всего сущего — абсолютной идеи, воплощающейся в государстве. «Государство есть Божественная идея как она существует на земле. Таким образом, оно есть... предмет всемирной истории». В истории человечества абсолютная идея познает самое себя. Поскольку ее коренным свойством является идея свободы, постольку и всемирная история идет по пути осознания этой идеи. Прогресс истории выражается в движении ко все более полному и глубокому пониманию идеи свободы. (Отметим в скобках, что И. Кант полагал, что всемирная история реализует «скрытый план природы», состоящий именно в достижении цели свободы и торжества разума.) Строгое следование этому пониманию единства всемирной истории заставило Гегеля существенно сузить всемирно-исторический процесс: для него история — это не история всего человечества, а лишь государств и народов, дух которых

на разных ступенях исторического развития выражал определенный принцип, присущий абсолютной идее, «мировому духу». История движется с Востока на Запад. В Передней Азии и Египте (на Древнем Востоке) «мировой дух» пережил детство, в Греции и Риме — юность и зрелость, в германо-христианской Европе — «бодрую старость». Все остальные народы причислялись Гегелем к числу «неисторических»: их существование не было включено в сферу бытия абсолютной идеи, либо, выполнив свое предназначение, они покинули историческую арену. Странное ограничение понятия всемирности — но и единственно возможное с точки зрения целостности философской теории. Столь же странно и столь же неизбежно другое ограничение — во времени. Мировая история, по Гегелю, обрывается современной ему Европой и Германией, где «мировой дух» достиг своей цели, познал самое себя и свою свободу.

Итак, подлинной основой единства всемирной истории является абсолютная идея, «мировой дух», развитие которого, порождая историю, передает ей качества прогрессивного и закономерного процесса. «Хитрость мирового духа», в частности, в том и состоит, что усилия и страсти отдельных людей приводят к результатам, далеким от их конкретных намерений, но объективно необходимым, законосообразным. История обрела в историософии Гегеля характер преемственного, имеющего определенные стадии, закономерного, саморазвивающегося процесса.

Все эти элементы в равной степени были присущи и историософии К. Маркса. Своеобразие же марксистского видения всемирной истории состояло в том, что подлинной основой ее единства было признано единство материального мира, понимаемое, в первую очередь, как единство свойственных всем народам определенных способов производства. Не повторяя сказанного ранее, отметим лишь самое существенное в марксистской концепции всемирной истории.

Исторический процесс, по К. Марксу, есть процесс естественно-исторической смены общественно-экономических формаций. Естественным (т.е. объективным, закономерным) он является потому, что в его основе лежат законы, над которыми не властна воля отдельных людей и социальных общностей (закон соответствия производительных сил характеру производственных отношений, закон классовой борьбы и социальных революций). Историческим этот

процесс может быть назван постольку, поскольку его законы реализуются в деятельности людей, классов, партий, сознательно ставящих определенные цели.

Те или иные общественно-экономические формации как стадии всемирной истории проходят в своем развитии все народы, хотя в классическом, «чистом» виде эти категории не существуют. Они проявляются в конкретном своеобразии локально-региональных вариантов развития. Каждая формация, каждая стадия — шаг на пути от несвободы к свободе. При этом понятие свободы мыслилось К. Марксом как состояние, достижимое только в итоге исторического процесса, когда исчезновение, революционное преодоление частной собственности уничтожит все формы отчуждения личности от общества, и прежде всего ее экономическое отчуждение от средств производства. Прыжок из «царства необходимости в царство свободы» марксистское общественное сознание связывало с революционным переходом к последней — коммунистической — общественно-экономической формации. С ее утверждением подлинная история человечества только и должна начаться. Все формации, предшествующие коммунистической, — лишь этапы предыстории человеческого общества.

«В основе такого толкования всемирно-исторического процесса лежит концепция конечной однонаправленности исторического процесса во всех регионально разрозненных потоках истории... Из этой цепи всемирной истории нельзя изъять ни одного звена, чтобы она не потеряла свой смысл, также нельзя эти звенья менять местами» (М.А. Барг).

Трудно сказать, насколько «жесткой» представлялась логика всемирной истории самому К. Марксу. Во всяком случае именно он отмечал опасность превращения «общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности», в «универсальную отмычку» для понимания каждого локального варианта исторического процесса. Ясно только, что пафос универсализма, органически присущий концепции К. Маркса, в догматизированном виде восторжествовал в отечественной историографии 30—80-х гг. XX в. и что именно этот пафос, помноженный на энтузиазм социального пророчества, вызвал «шторм критики» (М. Гилдерхус), исходившей из констатации невозможности объять океан конкретных фактов и направлений развития категориями следовавших одна за другой формаций.

Уязвимость «тотальных» концепций единства всемирной истории (к ним, в первую очередь, относят историософские системы Августина, Гегеля и Маркса) всегда была достаточно очевидна. Грандиозные построения, гармонические и уравновешенные, скрепленные безукоризненной логикой и взаимной согласованностью элементов, увлекали (и увлекают), убеждали (и убеждают), становились (и становятся) предметом не только научного знания, но и веры, подчас превращались в «руководство к действию» — и в качестве такового переставали быть наукой, перерождались в различные формы идеологии. Но их широта, блистательность абстракций и стройность логических конструкций вступали в противоречие с прозой исторической реальности, не желавшей с ее конкретностью и многообразием соответствовать чистоте «поэтической» теории.

«В знании о целостности отбрасываются наибольшая масса человеческой реальности, целые народы, эпохи и культуры, отбрасываются как не имеющие значения для истории. Они не более чем случайность или попутное явление природного процесса» (К. Ясперс). Это наблюдение крупнейшего философа-экзистенциалиста XX в. представляется чрезвычайно точным. Европоцентризм, бесспорно, являлся существеннейшей характеристикой «тотальных» интерпретаций всемирной истории (в большей степени Гегеля, в несколько меньшей — Маркса).

Популярность циклических теорий, опирающихся в своих построениях на фактическое многообразие путей и форм исторического развития народов и отвергающих наличие «образцовых», классических тенденций, относительно которых должна измеряться специфика развития отклоняющихся от них обществ, в определенной мере является реакцией на увлечение «тотальными» историософскими схемами. Первая половина XX в. дала две крупные, построенные на этих принципах философские концепции, приобретшие известность и славу, — концепции О. Шпенглера и А. Тойнби. Впрочем, за полвека до публикации исследования О. Шпенглера в России увидела свет книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», близкая по духу к этой, быть может, самой сенсационной историософской системе XX столетия.

«Закат Европы» О. Шпенглера появился в Германии в 1918 г. «Невозможно спорить о Наполеоне, не имея в виду Цезаря и Александра Македонского... Сам Наполеон был убежден в своем сходстве с Карлом Великим. Французский революционный Конвент говорил о Карфагене, подра-

зумевая Англию, а якобинцы именовали себя Римлянами. Из этого ряда сравнений... уподобление Флоренции Афинам, Будды — Христу, раннего христианства — современному социализму, римских магнатов эпохи Цезаря — американским янки. Петрарка, первый археолог-энтузиаст (а разве археология как таковая не есть выражение того, что история заключается в повторении), соотносил себя по духу с Цицероном; позже Сесил Родс, создатель Британской Южной Африки, имевший в личной библиотеке специально для него подготовленные переводы классических «Жизнеописаний цезарей», считал себя близким к императору Адриану. Карл XII Шведский с юности держал при себе биографию Александра, составленную Квинтом Курцием, мечтая быть похожим на знаменитого завоевателя, — в том была его судьба».

В сходстве «эр, эпох, ситуаций, исторических деятелей» О. Шпенглер видел все что угодно, но только не случайность. Повторяемость событий и персонажей истории может быть понята, по мнению философа, только при условии признания того, что всемирная история представляет собой не линейный, преемственный и прогрессивный процесс, а ряд независимых один от другого циклов. Каждый из таких циклов характеризует развитие замкнутых, непересекающихся, уникальных культур.

Таких культур О. Шпенглер насчитывал восемь: индийскую, вавилонскую, китайскую, египетскую, грекоримскую, арабо-византийскую, западноевропейскую, а также культуру майя.

Первоначало каждой культуры — единая и единственная в своем роде «душа», некий дух, который не может быть познан рационально и выражен иначе, чем символически. Внимание ученого было сосредоточено на анализе главным образом греко-римской, арабо-византийской и западноевропейской культур.

Первая из них обладает «аполлоновской душой» со свойственными ей ясностью, спокойствием, статикой, вневременностью существования.

«Магическая душа» арабо-византийской культуры, напротив, отражает глубокую озабоченность восприятием времени и пространства, четким осознанием конечности сущего.

Западноевропейская культура воплотила «фаустовский дух» с его устремленностью в бесконечность, напряженной динамикой, тягой к «новым рубежам».

Если символами «аполлоновской души» у О. Шпенглера служат дорическая колонна и евклидова геометрия, то мусульманская мечеть, раннехристианские пещеры и христианская линейная концепция истории символизируют «магическую душу» арабо-византийской культуры. Символы «фаустовской души» — дифференциальное счисление, музей, механические часы.

Важнейшее свойство культур — непроницаемость, изолированность и замкнутость. Подобно живым организмам, они рождаются из «безграничного и бесконечного», расцветают, заболевают (становясь «цивилизациями» и утрачивая жизненные силы — еще одно толкование понятия цивилизации), умирают. Эти стадии — общие для всех культур, и только поэтому они могут изучаться сравнительно-морфологически.

Всемирной истории как таковой нет, есть параллельное существование разделенных во времени и пространстве культур. Для О. Шпенглера идея единства всемирной истории, в сущности, лишена всякого смысла и не отражает ничего в реальности исторических процессов, множественных и не сливающихся в единый поток.

А. Тойнби, издавая в 1934 г. первые три тома монументального «Постижения истории», во многих своих оценках был близок к О. Шпенглеру. «Тезис о единстве цивилизации является ложной концепцией», — полагал он, считая, что открытые им 21 цивилизация развиваются независимо одна от другой по общим законам, свойственным их рождению, росту, надлому, распаду и гибели. В 1961 г., завершая издание двенадцатого тома, он был склонен придавать большее значение взаимодействию цивилизаций в пространстве и времени. Он подчеркивал, что развивающиеся цивилизации (их число увеличилось до более чем трех десятков) порождают на определенном этапе — этапе надлома — универсальные государства и высшие религии. «Подчиняясь духовной власти высших религий, человек способен преодолеть политические барьеры местных государств и даже культурные барьеры, разделяющие разные цивилизации». Роль цивилизаций А. Тойнби видел теперь именно в том, что они формируют высшие религии, которые открывают путь к «духовному прозрению, признанию друг друга и созданию внутреннего единства при сохранении многообразия».

«Единство цивилизации», таким образом, уже не отбрасывалось А. Тойнби как априорно «ложная концепция».

Оно существует — если не как реальность, то как цель, и тогда история цивилизаций может быть рассмотрена не только в ретроспективе многообразия их конкретных форм и путей развития, но и в перспективе их счастливого соединения в единой цивилизации, охватывающей все человечество.

Что существеннее в эволюции концепции? Первоначальный культ мертвых и живых цивилизаций, уникальных и неповторимых, или все настойчивее по мере работы над книгой звучащая мысль о единстве человеческой истории, «об общности судьбы и предназначения человечества»?

Парадоксально все сущее на земле! Отвергнув «тотальность» историософских концепций, дорожащих идеей единства всемирной истории как преемственного, закономерного, направленного процесса, осудив эти концепции за чересчур вольное обращение с фактами и формами, не вписывающимся в схему, сторонники теорий локальных цивилизаций подверглись резкой критике, содержащей почти те же аргументы и обвинения.

Грандиозный успех книг О. Шпенглера и А. Тойнби у широкой читающей публики контрастировал с холодностью, которой было отмечено восприятие их идей большинством историков. Сомнениями был встречен сам метод исследования. Сравнение событий, персонажей, институтов, верований, обычаев, присущих разным, разделенным пространством и временем цивилизациям, воспринималось как попытка с «извращенным удовольствием» «повалиться в двадцати одной пустой скорлупе». Тезис о повторяемости истории, принципиально важный для О. Шпенглера и А. Тойнби, вызвал желание напомнить восточную притчу о мудром старце, ответившем будто бы на вопрос умирающего шаха о том, что такое история: «Государь, люди рождаются, любят и умирают». Перечень выделенных цивилизаций и культур показался неполным, произвольным и раздражающе-утомительным уже потому, что точно определялось их количество и номенклатура. «Фокус удачен, трюкачу нельзя отказать в ловкости», но эти ухищрения не заставят нас «броситься в объятия к шарлатанам и наивным и в то же время лукавым чудотворцам» (Л.Февр). Это была — и есть — критика не частных: она исходит из принципиальной невозможности или несвоевременности всякого стремления к удовлетворительному историософскому толкованию проблемы единства мировой истории.

Популярность историософских концепций, их влияние к середине XX в. заметно снизились. Могло ли быть иначе? Вряд ли. Любая глобальная интерпретация исторического прошлого хотя бы отчасти опирается на аксиоматические, не требующие доказательства истины, положения и потому — в той или иной мере — предполагает если не слепую веру, то хотя бы доверие.

В историографии второй половины XX столетия такого доверия оказалось немного. Отсюда и скепсис в отношении самого понятия «философия истории», ее попыток постигнуть исторический процесс как определенную целостность (не важно, понимать ли эту целостность в духе представлений о единстве, всеобщности и преемственности определенных фаз общественного развития народов или в смысле признания многообразия локальных культурно-цивилизационных форм).

В этой связи чрезвычайно показательна позиция историков, разделяющих идеи школы «Анналов». Недавно Ж. Ле Гофф счел необходимым вновь напомнить, что «подход, намеченный еще Марком Блоком, предполагает создание истории, которую следует считать именно «общей», «тотальной», а не «всеобщей». За этой констатацией — подчеркнутый отказ от каких-либо концептуальных построений в той сфере, которая предполагает постановку вопросов о соотношении истории цивилизаций и мировой истории. Ф. Бродезем циклическое понимание истории отдельных цивилизаций отвергалось столь же решительно, как и представления о прогрессивной смене формаций. Специальный анализ современной французской историографии привел М. В. Дмитриева к выводу о том, что «стремление к обобщенно-системному моделированию исторического процесса» у историков Франции сильно, но велика и их осторожность в «реализации этого стремления». Слово «осторожность» в данном случае, пожалуй, слабо отражает позицию историков в отношении анализа общих вопросов теории исторического процесса, в частности вопроса о единстве человеческой цивилизации, мировой истории.

«Нужно ли их за это корить?» — повторим вопрос М. В. Дмитриева, во многом риторический. Понятно, нет. Познание истории как целостности остается и сегодня задачей, далекой от очевидных решений, более целью, идеей, чем реальностью.

И все-таки привкус горечи возникает. Именно сегодня
чрезвычайно остро осознается единство судеб человечест-
ва, человеческой цивилизации, человеческой истории. И
дело здесь не только в самоочевидном: человечество не
может справиться с вызовами времени, не преодолев
разобщенность и не признав единства своего прошлого, на-
стоящего и будущего. Суть в другом. «...Если мы не хотим,
чтобы история распалась для нас на множество ложных
путей, которые никуда не ведут, то от идеи единства
истории отказаться нельзя. Вопрос заключается в том, как
постигнуть это единство» (К. Ясперс). Сам К. Ясперс свя-
зывал единство человеческой истории с введенной им
категорией «осевого времени» (середина I тыс. до н.э.) и
основными ее факторами считал «безграничную откры-
тость будущего и краткость начала: мы только начинаем».
Единство истории — это «одновременно истоки и цель»,
и потому «всеобщая история стоит перед нами как за-
дача».

И вновь выясняется, что вопрос о единстве истории (как
реальности или как идеи, все равно) есть по существу воп-
рос о ее смысле и цели. Вечный вопрос, предполагающий
не единственно верный ответ, но поиск такового. «Без вы-
хода... на точку зрения, вынесенную за пределы истории,
невозможно системное понимание, объяснение и изложе-
ние истории» (Л.И. Новикова). В современной отечествен-
ной историографии этот поиск ведется главным образом
в рамках охарактеризованного выше цивилизационного
подхода.

Но здесь мы действительно «только начинаем».

ОБ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

— Наконец-то я вернулся домой!
Это моя настоящая страна! Я
принадлежу ей. Это та самая страна,
которую я искал всю мою
жизнь...

Клайв Стейплз Льюис
«Хроники Нарнии»

«Тупики в спорах нередко возникают и по другой причине. Сравнительно-исторический метод видят в том, что берут высказывания Маркса и Энгельса, относящиеся к истории Англии и Франции, и в лучшем случае занимают поисками русского своеобразия относительно этого эталона, а в худшем — механически переносят оценки явлений и процессов на Россию. Задача состоит не в том, чтобы выискивать в истории России черты, сближающие эту историю с историей Запада или Востока, а в том, чтобы изучать историю нашей Родины независимо от эталонов, такой, какой она была» (Н. И. Павленко).

Прекрасная мысль историка, высказанная почти тридцать лет тому назад,— точная, глубокая и сильная. Многими отвергнутая. Сегодня, конечно, убеждать кого-либо в том, что русская история отмечена неповторимым своеобразием, самобытностью, отличающей ее исторический путь от истории других народов, стран и цивилизаций, уже не нужно. Это представляется самоочевидным.

Но увидеть Россию такой, «какой она была», «независимо от эталонов», не пытаясь представить ее неким средостением между Западом и Востоком, не прибегая к чуть ли не арифметическому подсчету западного и восточного влияний в ее истории,— это все еще остается задачей, целью, мечтой. Задачей остается и стремление увидеть и понять Россию не в противопоставлении ее внешнему миру, не в изоляции от него, не в ослепляющем увлечении исключительностью ее исторического движения. И то и другое — крайности, равно опасные. Первая унижает прошлое, вторая — мифологизирует и искажает его.

Итак, рассмотрим основные особенности древней и новой истории России, факторы ее своеобразия.

Геополитические факторы. В наибольшей степени геополитическую роль России определяли четыре обстоятельства: срединное положение страны между Востоком и Западом; отсутствие серьезных природных преград как на западных, так и на восточных границах; принятие ею православного варианта христианской религии; появление «русской идеи» в различных ее модификациях и формах.

Два первых обстоятельства предоставляли Руси— России возможность с относительной легкостью обмениваться социально-экономическими и культурно-политическими идеями, практическими достижениями как со странами Европы, так и с народами Востока. Однако на пути осуществления этой привлекательной возможности часто возникали непредвиденные препятствия.

Так, в X в. Русь стала козырной картой в противоборстве мировых религий. К этому времени христианская Европа с запада (Испания, захваченная арабами) и юга (север Африки) оказалась окруженной мусульманскими народами. От выбора Киевом религии зависело очень многое, может быть, и будущность остальной Европы. Принятие Русью православия облегчило положение самых отдаленных от нее христианских народов, зримо отодвинуло от них воспринимавшееся как угроза распространение мусульманства.

В то же время принятие восточными славянами христианства в восточном, византийском варианте не делало их европейцами в буквальном смысле этого слова. Формального раскола церкви еще не произошло — это случилось чуть позже, в 1054 г., когда взаимное проклятие папы римского и константинопольского патриарха сделало реальностью давно назревавший разрыв православной, византийской, и католической, западноевропейской, христианских церквей. Русь переставала быть языческой, могла вести дипломатию «именем Христовым», но, с точки зрения католического Запада, она была еретичкой, раскольницей. Сделав свой религиозно-политический выбор в пользу быстро стареющей Византии и малоавторитетной Болгарии, Русь, в той или иной степени, оставалась изолированной от Европы и стран Востока, причем эта изоляция до XVII в. не только не ослабевала, но и усиливалась неблагоприятными внешними обстоятельствами.

В результате монголо-татарского нашествия и ига страна на полтора столетия была, в сущности, изъята из той сферы международных отношений, в которой она привык-

ла ощущать себя полноправным и постоянным участником. В XV в. после освобождения от ордынского гнета, на международную арену вышла уже иная держава. В XIII—XIV столетиях Русь крепла и развивалась в противопоставлении «поганым», завоевателям.

Позже место монголов в общественном сознании занимают «латиняне», католики Великого княжества Литовского и Польши. Особенно усилилось самопротивопоставление Руси остальному миру после захвата Константинополя и Балкан турками-османами (Константинополь, «второй Рим», пал в 1453 г.). По мнению русской церкви и широких народных масс, крушение Византийской империи произошло в результате отказа ее от истинной православной веры. Уния с католиками рассматривалась как грех, первопричина краха Византии.

Русское национальное самосознание, формировавшееся в условиях драматической борьбы за создание и укрепление единого Российского государства, в качестве одного из существенных элементов включало в себя распространенное во всех слоях общества убеждение, что единственной опорой и хранительницей истинного благочестия, настоящего православия остается Россия, российская государственность. О рождении русской идеи возвестила концепция, воплощенная в известном постулате о «Москве — третьем Риме». Московское государство понималось как образец общественного устройства, прочно и твердо стоящего на почве верности христианскому учению и церкви Христовой.

Важной частью политического и духовного развития России становится противопоставление православной державы ее западным и восточным соседям. Дело доходит до отказа или прямого запрета иерархами церкви читать греческие книги, заниматься европейскими науками; утверждается настороженное отношение к иностранцам как недругам, еретикам. Трагедия «Смутного времени» начала XVII в., сопровождавшегося массивной агрессией Польши и Швеции, это отношение усиливала.

Возникает, однако, и другая тенденция. Затяжные войны, столкновения с Польшей и Швецией заставили Россию иначе взглянуть на своих европейских соседей. Отставание от европейского технического и технологического уровня, пробелы в тактике, вооружении, организации войска вынудили страну переосмыслить сложившиеся стереотипы пренебрежительного отношения к иностранцам и ино-

странному. С этого периода крупные войны приобретают для России не только значение вооруженных конфликтов и территориальных приобретений, но и более широкий исторический смысл. Обычно отмечают, что сами войны, а также подготовка к ним играли двоякую роль: с одной стороны, «информационную», с другой — «сравнительную». Расширяя географический, политический, научный, военный горизонт (вспомним хотя бы значение Северной войны 1700—1721 гг.), они вместе с тем объективно выявляли сравнительные характеристики уровней развития техники, военного дела, экономических структур, прочности социально-политического строя. Наиболее показательны в этом отношении Отечественная война 1812 г. и Крымская война 1853—1856 гг. Они имели важное общественное, внутривнутриполитическое значение, выступая стимулом к реформам и переменам.

Со второй половины XVII в. начинается упорная погоня России за европейской экономикой, бытовой и художественной культурой. Реформы, назревшие к концу столетия и решительно проведенные Петром I в начале XVIII в., поставили Россию в принципиально новое положение на международной арене — положение «великой европейской державы».

Россия, провозглашенная империей в последние годы правления Петра I, заставила считаться с собой все европейские страны. Знаменитое высказывание видного царедворца Екатерины II графа А. Безбородко: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела» блестяще иллюстрирует это новое положение. Его показателем можно, в частности, считать и то, что вскоре после смерти Петра I по миру начала гулять фальшивка о «завещании» императора, в котором он якобы наметил программу завоевания мирового господства и установления военно-политической гегемонии России.

Вершиной внешнеполитического влияния России стала первая четверть XIX в., когда ей удалось сокрушить Наполеона, получить кровью оплаченный титул «освободительницы Европы» и стать во главе Священного союза. Позднейшие колебания ее внешнеполитического статуса (особенно международный авторитет России упал к 1856 г. — году поражения в Крымской войне) не трагивали, в сущности, базисных основ ее положения как «великой державы». Ни тогда, ни позже никто из мировых

политиков не мог не считаться с возможностями и влиянием России. С приближением общеевропейских или мировых конфликтов все хотели видеть ее в числе союзников. Мощный ресурсный и людской потенциал, специфика геополитического положения позволяли России играть одну из ведущих партий в мировом оркестре. XX в. в этом смысле мало что изменил.

Географические условия и особенности экономики. Начинать изучение древней истории России с анализа ее географического положения и особенностей территории давно уже стало своеобразной историографической традицией, утвердившейся уже в работах Н. М. Карамзина и С.М.Соловьева. Природно-климатические и географические факторы действительно во многом определяли тенденции развития общества, специфику его структуры и экономического положения.

Русь—Россия расположилась на бескрайней равнине от Приднепровья до Поволжья, постепенно распространяясь на уральские и сибирские пространства, на Кавказ и Среднюю Азию. Ее коренные земли отличались богатством водных путей, что, бесспорно, облегчало как товарообмен, так и освоение новых регионов. Процесс колонизации, хозяйственного и политического освоения обширных территорий растянулся на многие века, и вряд ли можно с уверенностью сказать, что он окончательно завершился даже в наши дни.

Равнинный характер территории, обилие речных путей не только помогали нашим предкам, но и открывали их земли для многочисленных вторжений, заставляя быть постоянно начеку, в готовности дать отпор вражеским набегам.

Славяне издавна занимались земледелием; довольно долго оно оставалось для них одним из важнейших способов выживания и не обрело характера расширенного воспроизводства. Пахотные земли России можно условно подразделить на две основные зоны — лесную и степную, причем лишь вторая является достаточно плодородной, содержит богатые черноземные пласты, позволяющие получать относительно высокие урожаи без интенсивного удобрения почв. Обилие свободных земельных пространств давало землепашцу возможность постоянно менять надел, довольно долго пользоваться подсечной системой земледелия. Земля кормила крестьянина, но не могла стать источником его богатства. Вероятно, поэтому, как

отмечают многие историки, отношение к ней сельского жителя вряд ли может быть признано бережным. Еще В. О. Ключевский писал о неповторимом умении древнерусского хлебороба «истощать почву».

Значительное влияние на хозяйственные занятия населения Руси—России оказывали ее климат и северное положение. Климат нашей страны относится к континентальному типу. Осадки обильнее всего выпадают на северо-западе, т.е. там, где почвы беднее, и в основном во второй половине лета. Даже незначительные отклонения от сезонной нормы могут в этих условиях привести к сложностям и катастрофе в уборочное время.

Северное расположение страны ограничивало период, пригодный для сева и уборки, пятью с половиной месяцами в году (в Европе он составляет 8—9 месяцев). Холодная же зима ставила перед крестьянином новые трудности, заставляя его содержать скот в закрытом помещении на два месяца дольше, чем в Европе. Недостаточная продуктивность мясомолочного хозяйства, хроническая нехватка органических удобрений были неизбежным следствием этого положения.

Жесткие природно-климатические и географические условия ставили российское крестьянство в чрезвычайно сложные обстоятельства. С неизбежностью увеличивались трудозатраты на производство продукции; сохранение и консервация различных форм коллективного труда оставались объективной необходимостью. Этим, в частности, объясняется удивительная живучесть и прочность традиций общественного хозяйствования, совместного возделывания земли и пользования угодьями, которая ярко проявилась в начале XX столетия, в годы проведения аграрных реформ П. А. Столыпина. Усилия, направленные на разрушение крестьянской земельной общины, ожидаемых быстрых результатов не дали. Общинные традиции оказались сильнее реформ.

Важным элементом русской экономики издавна были промыслы: охота, бортничество, рыболовство; позже промыслы усложнились, превратившись в разветвленную сеть мелкой крестьянской промышленности.

Развитие промыслов, крестьянской, а позже крупной мануфактурной и фабричной промышленности опиралось на богатство природных ресурсов: лес, реки, руды, уголь, с конца XIX в.— нефть. Их усиленная эксплуатация — характерная черта экономики традиционных обществ и

обществ, переживающих стадию индустриальной модернизации,— придала российской промышленности сырьевую, затратную направленность, не преодоленную вплоть до настоящего времени.

О значении торговли уже в ранний период русской истории говорит хотя бы то обстоятельство, что поход князя Олега в 882 г., объединивший Новгород и Киев, два древнейших очага восточнославянской государственности, не в последнюю очередь был вызван потребностью держать под контролем весь путь «из варяг в греки». В дальнейшем внешняя политика Киева во многом определялась стремлением к завоеванию новых торговых путей или очисткой от конкурентов путей традиционных. Обмен с восточными соседями и Византией оказался делом настолько выгодным, что торговля, наряду со сбором дани с подвластных племен, стала главной заботой киевских князей.

Уже тогда, в первые века истории России, выявилась одна из характернейших черт экономического развития страны — активное участие государства в экономике, по сути определяющее значение власти в хозяйственной жизни страны. Крупное землевладение у восточных славян первоначально возникло в форме государственного, княжеского права на землю и лишь позже приобрело характер частного, вотчинного, что не было специфически-самобытным в раннесредневековой Европе. Но дальнейшее усиление государственного начала, возрастание роли государства в развитии экономики должны рассматриваться как особенность российской истории.

Особенно ярко роль государства проявилась при возникновении крупной российской промышленности. Она была в полном смысле выращена самодержавным правительством в конце XVII — начале XVIII в. Знаменитые петровские мануфактуры возникали как государственные — в первую очередь в отраслях, работавших на военные нужды. Государство вкладывало огромные деньги в строительство национальной промышленности; оно оберегало ее высокими таможенными тарифами и протекционистскими пошлинами. Появление частных мануфактур не снизило активности государственного аппарата: регламенты, ревизии, казенные заказы — все это оставалось инструментом влияния государства на темпы и направления экономического роста, влияния, не ослабевшего и после реформ 60-х гг. XIX в. Жесткая и подчас мелочная регламентация предпринимательской деятельности, созда-

ние неодинаковых условий для государственного и частного кредитования, регулирование отношений между фирмами при помощи государственных заказов, использование принудительного труда характеризовали экономическое развитие страны и в XIX, и в XX столетиях.

Несомненна и связь активного участия в хозяйственном росте государства с юридическим и фактическим оформлением в России крепостничества. С середины XVI в. восторжествовало стремление решать острейшие для страны проблемы развития аграрного производства, обеспечения рабочими руками вотчин и поместий за счет закрепощения труда в общегосударственном масштабе, прикрепления земледельца к земле и личности землевладельца. Не увлекаясь деталями, отметим главное. Крепостничество, с одной стороны, как единая система, насаждавшаяся и поддерживавшаяся сверху, устанавливало определенное единообразие, придавало внешнюю прочность экономике огромной страны. С другой стороны, в силу явственной элементарности, консервативности, малой эффективности, примитивной жесткости, крепостничество не только сообщало системе устойчивость, но и обуславливало ее малоподвижность, невосприимчивость к любым, даже необходимым изменениям. Оно неизбежно обрекало экономику России на длительное техническое и технологическое отставание, сопротивляясь самым незначительным попыткам внедрения чуждых ей предпринимательских начал.

Отмена крепостного права в 1861 г. не могла дать быстрого экономического эффекта: сформировавшаяся за столетия рабства психология и работника, и работодателя должна была постепенно измениться под воздействием новых обстоятельств. Процесс перестройки и экономики страны, и сознания населения шел чрезвычайно болезненно — это была грандиозная по своим масштабам и значению деятельность. Остатки крепостничества, не до конца преодоленные реформами 60—70-х гг. XIX в., еще более затрудняли решение назревших проблем. И если система частновладельческого крепостничества была в основном сокрушена в эти годы, то крепостничество государственное сохранялось — его традиции, ослабленные, но не прерванные, унаследовала и Россия XX столетия.

Крепостничество, вкуче с внешними обстоятельствами, негативным образом повлияло и на состояние российской торговли. Начиная с XV—XVI вв. внешняя торговля страны находилась в руках иностранных купцов и, в силу разных

причин, оставалась в этих руках до конца XVIII в. Внутренний же обмен страдал от заметной узости российского рынка — не в последнюю очередь обусловленной тем обстоятельством, что, покупательная способность населения даже в XIX в. была весьма низкой. Может быть, поэтому торговля в России очень долгое время носила ярмарочно-базарный характер; стационарные, магазинные формы ее организации появились лишь в XIX в. Первый банк в стране был создан правительством только во второй половине XVIII в.; отсутствие развитой банковской сети делало невозможным распространение кредитной системы и затрудняло развитие торговли.

Социальная структура и социальные отношения. Особенности российской экономической жизни сказывались и на формировании социальной структуры Руси—России. Правильная, четкая сословная организация здесь складывалась долго и тяжело, причем сословия образовывались при постоянном давлении государства, а то и прямо создавались им. В результате и сословное самосознание выработывалось медленно и не было достаточно устойчивым.

Причинами, определявшими такое становление социальной структуры России, были роль и политика государства, а также длительное существование крепостнических отношений, пронизывавших все сферы жизни общества. Само Российское государство, сложившееся не только под воздействием экономических предпосылок и на фундаменте противоречивых социальных интересов, но и под давлением внешних обстоятельств, в значительной степени влияло на формировавшиеся социальную структуру и социальные отношения.

До середины XVII в. они оставались достаточно «невнятными»: окончательно выстроенной социальной пирамиды не сложилось. Этим, по-видимому, можно объяснить особую устойчивость социально-политического строя России: ее некое родовое единство не могли поколебать даже Смутное время и мощные социальные движения, участвовавшие крестьянские и городские бунты.

Отмеченные единство и стабильность имели свою «цену». Дело в том, что чрезвычайно медленно и трудно шел процесс сословного самоопределения, формирования выраженных сословных требований и интересов. Общественное влияние на выработку проводимого государством политического курса в этих условиях оставалось крайне слабым и неопределенным; накапливавшееся глухое недо-

вольство искало выхода — и размеренное течение жизни периодически нарушалось взрывами стихийного и потому разрушительного протеста.

Да и само государство, в лице монархов прежде всего, смотрело на население России как на некую единую массу подданных, массу, главной задачей которой являлось сохранение, укрепление и упрочение государственных устоев. Ограничение сословных свобод становилось одним из способов усиления государства.

Закрепощение крестьян, являвшихся главными производителями материальных благ, не было ни единственным, ни последним по времени шагом, ограничивавшим свободу целых социальных слоев. Ведь за главными производителями необходимо было наблюдать, ими надо было руководить, подавлять их недовольство. Позже страна стала нуждаться в людях свободных профессий, интеллигентских занятий: инженерах, врачах, журналистах, художниках. Развитие промышленности требовало создания слоя предпринимателей и «работных людей».

Все эти новые, или «старые-новые», сословия с момента своего рождения попадали в жесткую зависимость от государства и его правительственного аппарата. Последнее обстоятельство не только превращало эти слои в своеобразных «крепостных» государства, но и делало их социальный облик достаточно своеобразным, отличным от классического, мешало им осознать свои сословные интересы, включиться в политическую жизнь.

Можно перечислить немало особенностей основных общественных слоев России, связанных с охарактеризованными выше обстоятельствами. Например, ее высшее сословие — дворянство — было освобождено от обязательной государственной службы и телесных наказаний лишь в 1785 г., а впервые заявило о своем несогласии с правительственным курсом восстанием на Сенатской площади в 1825 г. Буржуазия долгое время думала не о собственных классовых интересах, а стремилась попасть в число дворян, ибо это гарантировало владение землей и крепостными. Интеллигенция, отчасти выросшая из образованных, просвещенных слоев дворянства, отчасти обязанная своим рождением государству, приложившему во второй половине XVIII — начале XIX в. немало усилий для формирования слоя лиц, имевших специальную профессиональную подготовку и происходивших из так называемых разночинцев, обрела в России совершенно особый, во многом уникальный

социальный статус. Бюрократия, представлявшая собой специфический общественный слой со своими интересами и видением ситуации, по долгу службы участвовала в становлении социальной структуры России. Будучи несвободной сама, она, в силу своего положения, превратилась к XIX в. в полноправный класс русского общества, формализовавший и контролировавший жизнь страны.

При всех отличиях между сословиями и классами их сближало то, что в глазах верховной власти они оказывались не гражданами, а верноподданными. Гражданское общество, которое характеризуется не только наличием определенной социальной структуры, но и неотъемлемыми правами ее отдельных слоев, начало складываться в России лишь в начале XX в. Завершить его становление не удалось.

Особенности строительства социальной структуры в стране привели к тому, что российское общество с XVIII в. все более явно распадается на слои, определявшиеся не только классовыми или сословными признаками. Происходит, например, отрыв образованных слоев населения от широких народных масс. Две эти группы населения начинают придерживаться разных культурных ориентации — да и говорить в буквальном смысле слова на разных языках. «Страшно далеки они от народа» — это довольно точная характеристика данного разрыва. Некоторые исследователи отмечают даже существование в России XVIII — начала XX столетия «двух наций», одна из которых полностью исчезла в потрясениях 1917—1922 гг.

Своеобразие социальной структуры и социальных отношений не только определялось экономическими и политическими факторами, но и активно влияло на них, придавая, в частности, существенное своеобразие политическому строю страны.

Политический строй и общественное движение. Государственные порядки создавались на Руси не только вследствие внутреннего развития общества, выраставшего из традиционного родоплеменного строя, но и под сильным давлением внешних обстоятельств. Среди последних в ранний период главную роль играли постоянная опасность вооруженных набегов соседних племен и интересы внешней торговли. Становление единого Российского государства в значительной степени было ускорено необходимостью освобождения от монголо-татарского ига. Процесс закрепощения крестьянства, завершившийся в XVI—XVII вв.,

предопределил торжество тенденций, ведущих к ужесточению государственных начал, усилению их роли в общественном развитии, поддержанию гражданского мира вооруженной рукой.

Первые киевские князья варяжского происхождения со своими дружинами сыграли немаловажную роль в становлении государства восточных славян. Они стали своеобразным катализатором процесса, шедшего достаточно давно, помогли установить более тесные связи между различными частями страны, сумели наладить оборону ее границ. Эти же князья способствовали активизации внешнеторгового обмена Киевской Руси с ее ближайшими соседями.

При всей преемственности перехода Киевской Руси в Московскую между этими двумя государственными образованиями существовали значимые различия. Приднепровье сначала заселилось, а затем получило княжескую власть. Северо-восточные земли колонизировались при участии ростово-суздальских, владимирских или московских князей. Киевская Русь старалась придерживаться родового принципа передачи княжеского стола: от брата к брату, от дяди к племяннику. Северо-восточные земли переходят к отчинному принципу передачи власти — от отца к сыну.

Владимирские, а затем и московские князья смотрели на княжество как на свою вотчину, а на людей, переселившихся к ним (процесс переселения был стимулирован монголо-татарскими набегами, делавшими невозможной нормальную жизнь в степных районах), как на сидевших на княжеской земле работников. Количество земли начинает определять значимость и вес князя, поэтому приобретение новых владений становится насущной задачей князя-вотчинника. В период монголо-татарского нашествия и ига определяется и тип отношений между сословиями, стоявшими на верхних ступенях социальной пирамиды. В Киевской Руси постепенно складывались отношения, близкие к отношениям вассальной зависимости дружины, а затем и бояр от княжеской власти. При этом формировались некие нормы, существование которых гарантировало вассалам поддержание определенной дистанции от князя. В XIII—XIV вв. на Руси побеждает подданничество, не оставившее и следа от прежних вольностей и относительной независимости знати, а также и городов.

Приобретение земель, оставаясь насущной задачей московских самодержцев, начинает постепенно сдавать позиции перед новой проблемой — укреплением единоличной

власти государя. Установление и сохранение единовластия проходит через всю русскую историю, причем иногда эти усилия совпадали с требованиями времени — и тогда страна получала крупных, а то и великих правителей (Иван III, Петр I, Екатерина II), иногда же личные интересы монарха повергали подданных в ужас бессмысленного террора (Иван IV Грозный).

В XVIII в. Россия созрела для установления в ней абсолютизма, который имел ряд существенных особенностей. Слабость буржуазных отношений, специфика городского развития обусловили отличия российского абсолютизма от его европейского аналога. Источниками становления данного режима в нашей стране были особая расстановка сил в господствующих слоях, обострявшаяся социальная рознь и (не в последнюю очередь) мощные внешние факторы, в особенности институциональные примеры Западной Европы.

Получив неограниченную, абсолютную власть, монарх отныне выступал единственным инициатором реформ и любых других изменений в жизни страны. При этом он зачастую следовал объективной необходимости, но не всегда обращал внимание на готовность к реформам населения России. В качестве союзника и исполнителя своих проектов монархия использовала только бюрократию и возможности государственного аппарата. В конечном счете это вызвало раздражение повзрослевшего общества, выплеснувшееся наружу во второй половине XIX — начале XX в.

Все сказанное позволяет констатировать, что сложившаяся традиция государственно-политического развития России имела трагически-противоречивый характер. С одной стороны, огромная роль государственных начал в общественной жизни, крайняя персонификация власти, ее высокий социальный статус как власти по существу сакральной, священной, объективно закрепили за государством значение не просто главного, а, пожалуй, единственного гаранта целостности, стабильности и единства страны. С другой стороны, гипертрофия государственных функций достигалась за счет самостоятельности, самостоятельности, инициативы общества, независимости сословий и классов, сужения каналов воздействия последних на направления и формы политического развития. «Государство пухло, а народ хирел» (В.О. Ключевский) — на протяжении веков эта формула, увы, оставалась истинной. Балансируя между необходимостью преобразований и

жизненной потребностью в обеспечении устойчивости традиционных общественных структур, гарантировавших стабильность, государственная власть, как правило, выбирала второе, и выбор этот был предопределен изначально.

Отсутствие институализированной, нормативно определенной политической жизни препятствовало формированию политической культуры и политической традиции. Следствием этого явилось развитие чрезвычайно импульсивного, радикально настроенного общественного движения. Возглавляемое не дворянством или буржуазией как классами, а интеллигенцией, усматривавшей свое предназначение в том, чтобы выразить «интересы страдающего народа», оно с самого начала XIX в. вступило в резкий конфликт с правительством, который после целого ряда жестоких столкновений разрешился драмой 1917 г.

Учитывая особенности российского социально-политического развития, вряд ли можно было ожидать иного исхода. Зажатое между лозунгами официальной идеологии и жесткой практикой карательных органов, общественное движение России с годами усваивало все более решительный тон, не имея возможности понять необходимость политического центра и ценность либерализма. Впрочем, последнее было трудно сделать, ибо роль инициатора реформ, центра и охранителя в разные периоды играло само правительство, постепенно утрачивавшее ясность видения ситуации и определенность политических принципов. В этих условиях либеральный лагерь не смог и не мог выработать четкой программы, организовать, сплотить сторонников, а радикальные общественные течения, борясь с государством, вдохновлялись близкими к правительственным верхам идеями «насилованного прогресса».

Революционное движение, действовавшее в подполье, скатывалось или к индивидуальному террору, или к тактике заговора. И охранители в правительстве, и революционеры-бомбисты полагались на силу. Первые стремились удержать общество в старых рамках, вторые — втянуть его в теоретически светлое будущее, не спрашивая при этом согласия или несогласия народа России, считавшегося недостаточно зрелым для участия в определении своей судьбы.

К началу XX в. противостояние общественных лагерей обострилось настолько, что первый же серьезный социально-политический кризис мог обернуться катастрофой. Не успев оправиться от революционных потрясений 1905 г.,

Россия оказалась втянутой в первую мировую войну. Порожденный ею общеевропейский кризис больше всего ударил по России, однако этот удар и эта боль отозвались во всем мире.

Церковь и государство. Православие очень многое изменило в жизни России. Оно дало письменность, школы, суды, новые законы. Церковь опекала нищих, убогих, больных. Родовые, племенные, дружинные связи переосмысливались отныне на основе не только утверждения государственного начала, но и формирования особой духовной общности, свойственной русскому православному обществу. Церковь поднимала значение княжеской власти, борясь со взглядами на князя лишь как на военного вождя. Она принесла на Русь освященную иерархию, духовно связывавшую ее части друг с другом.

Восприятие Русью христианства не было, однако, процессом быстрым и легким. Пришедшее из Византии русское православие далеко не сразу освоило премудрости византийской религиозной мысли. Один из ярчайших представителей славянофильства А. С. Хомяков давно обратил внимание на то обстоятельство, что Древняя Русь восприняла только внешнюю форму, обряд, а не дух и сущность христианства. Действительно, богословские искания занимали скромное место даже в жизни древнерусских монастырей. В миру же, по словам профессора Е. Е. Голубинского, народная масса Руси ничего не успела освоить в домонгольский период — ни внешности, ни внутреннего смысла, ни образа, ни сущности христианской религии. Проблема усугублялась тем, что своих кадров священников было мало, а греческие и болгарские — слишком оторваны от русской жизни, далеки от ее понимания. Постепенно константинопольские иерархи исчезают с русской арены, но вместе с ними прекращается и систематический приток греческих духовных сил.

Временами положение с богословской подготовкой священнослужителей становилось катастрофическим. В XVI в. Стоглавый собор отмечал, что, если не посвящать в сан неграмотных, церкви останутся без пения, а христианам придется умирать без покаяния. В XVI—XVII вв. устанавливается своеобразный компромисс между пастырями и паствой. Духовенство снижало требования, предъявляемые к знаниям мирянами содержания вероучения, либо вообще не пыталось формировать их. Мирянам же, затверживавшим понятия об обрядах, молитвах и культе,

чужды были рассуждения о догматических тонкостях. Богословские искания, размышления о сущности религиозных истин оставались привилегией крайне узкого круга высокообразованных священнослужителей. Духовные прозрения, сопровождавшие эти искания, поразительны, но они являлись достоянием немногих.

Уже Киевская Русь, находившаяся в зоне цивилизационного влияния Византии, восприняла важнейшие нормы, определявшие взаимоотношения государственной власти и церкви, утвердившиеся в империи. Византийская православная церковь не пыталась притязать на участие в политической жизни, категорически осуждала амбиции главы католической иерархии, римского папы, направленные на установление теократии и фактическое подчинение светских государей собственной власти. Верховенство императора, опекающего церковь и заботящегося о поддержке христианского мира в государстве, уход церкви от мирских страстей и политической борьбы — таковы принципы, представлявшиеся византийскому православному духовенству единственно соответствующими религиозной доктрине.

С момента своего возникновения церковь на Руси находилась под покровительством и влиянием княжеской власти. Само крещение, инициированное князем Владимиром I Святым, могло стать реальностью только при условии активных и целенаправленных усилий светских властей. Новые епархии возникали по желанию и при активном участии князей. Самоосвобождение русской церкви от византийской было настолько же делом национальным и церковным, насколько и политическим, и проходило при твердой поддержке государства.

Материальное благосостояние русской православной церкви покоилось на обладании землями и сидевшими на них крепостными; участия в торговых операциях, ростовщических сделках, промышленном предпринимательстве православное духовенство не принимало. В результате угроза конфискации или даже ограничения церковного землевладения ставила церковь в прочную зависимость от государства.

Идейно-религиозный кризис середины XVII в. и последовавший за ним раскол церкви еще более усилили ее зависимость от светских властей. Без помощи государства официальной церкви вряд ли удалось бы справиться с раскольниками со столь незначительными потерями. Все это

предопределило превращение церкви в одно из подразделений государственного аппарата в первой четверти XVIII в., когда по указу Петра I для управления церковными делами был организован Синод во главе с назначаемым императором обер-прокурором.

В дальнейшем жизнь русской православной церкви протекала как бы в двух плоскостях. Основная масса священников, мало озабоченных высшим смыслом своей духовной деятельности, превратилась в своеобразных государственных служащих. Высокими размышлениями и подвижничеством была охвачена небольшая часть клира, посвятившая себя поиску духовных идеалов и следованию Христовым заповедям в реальной жизни. В частности, широко известна деятельность старцев Оптиной Пустыни, которая вдохновляла всех мыслящих и чувствующих людей России. Многие из них, истинно и глубоко верующие, испытывали глубокую тревогу относительно церковных дел. Положение церкви, ее подчинение политике и интересам государства, забвение роли и предназначения духовного пастыря казались им более чем опасными. О необходимости обновления церкви, ее более активном участии в духовной жизни России, ее влиянии на общественную нравственность говорили и писали славянофилы, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев.

Некоторые черты духовной жизни. Православие, бесспорно, являлось одной из основ духовной жизни общества, основ глубинных и неуничтожимых. Русское православие, близкое к православию византийскому, имело свои особенности: большая связь с природой, миром, предпочтение, которое отдавалось Божьей Матери, Троице перед Софией, глубокий интерес к эстетической стороне религии.

В XV в. начинается выработка комплекса представлений, обычно определяемого понятием русской идеи. Русская идея не была, однако, монолитна и одновариантна. По крайней мере о двух ее обликах следует сказать.

С одной стороны, это была мечта об обществе, соединенном узами соборности, т.е. высочайшего духовного единства; общества, в котором формы политического устройства являются второстепенными по сравнению с внутренним единством народа. Странники этой идеи были убеждены в том, что Русь—Россия обладала той религиозной истиной, которая может быть признана единственно верной, единственно правой. Но обладание истиной еще не есть знание истины. Русь должна познать

свое предназначение, проникнуть в смысл истины и устроить свою жизнь в соответствии с нею. Осознание высоких истин и последующее их практическое воплощение в идеальном государстве воспринималось как миссия, возложенная на русский народ, его высшее предназначение.

С другой стороны, возникла и крепла теория, согласно которой Русь—Россия не только обладала истиной как задачей, целью своего исторического существования, своей миссией, но уже осознала ее и успешно претворила на практике, выстроив по-настоящему христианское государство. Сторонники данной теории полагали, что миссия России заключается не в работе духа и мысли, не в нравственном совершенствовании, а в распространении идеальных порядков на другие страны и народы.

Различия этих интерпретаций русской идеи заметить нетрудно. И дело не только в том, что вторая из них оправдывает имперскую по сути политику и явственно претендует на жесткое менторство в отношении остального мира. Главное, что они вдохновлены разными ценностями. В первом случае ценится истинная элита нации — люди ищущие, неудовлетворенные, совестливые; во втором — на первый план выступают деятели решительные, не подверженные сомнениям, жестокие в осознании ими собственной правоты. Борьба двух указанных тенденций проходит через всю новую и новейшую историю России, не прекращаясь и не ослабевая до сегодняшнего дня. Она диктует различные подходы к самым разным проблемам, определяет суть и форму их решений.

Дискуссии по теоретическим вопросам плодотворны и приносят положительный результат тогда, когда к высказанным идеям относятся как к обычным порождениям человеческого разума, которому свойственно увлекаться, ошибаться, излишне осторожничать или забегать вперед. «Пытливость нашей нет конца: конец на том свете. Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости» (М. Монтень).

Увы, мы более привыкли к иному отношению к теории, исходящему из представления о «сакральности», «богоданности» идеологической схемы. Сторонникам тех или иных взглядов они (взгляды) кажутся единственно верными, любое отступление от них расценивается как ересь, предательство прогресса или национальных интересов. Часто ли в истории России или ее настоящем проявлялась и проявляется действительная соборность? Нет, к сожалению,

соборность была и остается уделом немногих. Соборны Сергей Радонежский и Андрей Рублев, Серафим Саровский и другие великие святые подвижники земли Русской; соборна ее культура; соборны, несмотря на различия в убеждениях, русские философы от Владимира Соловьева до Николая Лосского; соборны авторы социальных крестьянских утопий XVIII—XIX вв. Гораздо чаще, однако, встречаются в нашей истории проявления не соборности, но — общинности, философии и психологии непространственной тесноты, желания быть как все.

Общинное единение — это единение не на духовной почве, а на основе единокровного отношения к месту и времени. Главное здесь не в соответствии целей и методов достижения высокому идеалу, а в нежелании брать на себя ответственность, в комфортности единиц, составляющих толпу, в уверенности, что некто ведет всех правильной дорогой, в боязни духовно выпасть из сообщества сограждан. Общинность не делит свой мир на «я» и «другие» — это означало бы необходимость оценки себя со всех сторон, выделения себя из среды подобных. Общинный организм необычайно жизнестоек и весьма консервативен. Он помогает своим членам выжить в любых условиях — но не более того...

Разрыв же человека с общинными связями означает попытку прорваться из надоевшего, но привычного «мы» в манящее свободой, но пугающее ответственностью «я». И этот почти крестный путь не приносит проделавшему его облегчения. Выясняется, что и «я» — это еще не свобода, а лишь прорыв к воле, которая заключает в себе новую несвободу. Свобода и воля — извечное противостояние и противопоставление на Руси и в России. Свобода является понятием историческим, ее можно завоевать или потерять. Важно одно — принять ее правила. Она позволяет делать все, что не противоречит свободе других, что не запрещено законом. Такой свободы русский человек не знал на протяжении веков.

Ему оставалась воля как последнее прибежище от рабства. Воля, внутренняя и внешняя, — состояние естественное, может быть, генетическое, или с нею рождаются, или она отсутствует. Она проявляется или в уходе внутрь себя, к душе, или в мгновенном взрыве, когда человек требует не то, что возможно, а все сразу, немедленно, невзирая на последствия, не учитывая традиций. Крестьянский бунт, обреченная жертвенность выступлений революционеров,

одиночный протест В. С. Печерина, как и пророчество
пушкинского Юродивого в «Борисе Годунове» и смирение
толстовского Платона Каратаева,— явления одного поряд-

ка, явления русской воли. История всегда трагична. Трагичен исторический путь
России. Трагично извечное противостояние соборности и
общинности, свободы и воли, «мы» и «я». Трагичен поиск
истины, духовного предназначения в истории. На грани
именно этих противопоставлений построены важнейшие
философские и психологические открытия XX в. Россия су-
мела показать миру, что человек — существо самоценное,
поскольку обстоятельства места и времени должны
оцениваться именно по тому, насколько они дают возмож-
ность раскрыться человеческой личности. Через свою дол-
гую несвободу россияне показали миру не только ценности
свободы, но и ее истинную меру. Это достижение над-
национальное и, пожалуй, не подверженное корректировке
временем.

В «Подростке» Ф. М. Достоевский написал удивитель-
ные в их пророческой силе слова: «Одна Россия живет не
для себя, а для мысли; и согласишься, мой друг, знамена-
тельный факт, что вот уже почти столетие, как Россия
живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы».
Трудно сказать, нужна ли была Европе русская «подсказ-
ка», да это и не важно. Важно то, что нам пора перестать
служить суфлером, пришла пора выходить на сцену.
А значит, надо начинать жить не только для мысли, а с
мыслью — для себя.

Сегодня Россия — на переломе, в стремительном и
трагическом потоке перемен, в мучительном поиске исто-
ков, смысла, значения своей истории, своего места, своих
первоначал. Преодоление барьеров, терпимость и ува-
жение к чужим взглядам, приобщение к накопленным
человечеством и русской историей ценностям оказались
процессом болезненным, трудным, процессом преодоления
истории и возвращения к ней одновременно, процессом
постижения вечных истин и глубинных начал, процессом
восстановления казавшейся безвозвратно утраченной пре-
емственности между прошлым, настоящим и будущим
великой страны. Процессом пробуждения чувства Родины,
наконец. А оно «должно быть строго, сдержанно в
не речисто, не болтливо, не «размахивая руками» и не вы-
бегая вперед (чтобы показаться). Чувство Родины должно
быть великим горячим молчанием» (В. В. Розанов).

ЦЕННОСТЬ ИСТОРИИ: ПОПЫТКА ОТВЕТА

— Я, когда разойдусь, сокрушаю -
все, что попадетя мне под руку!

— А я сокрушаю все, что попадетя
мне под ногу! — закричал Труляля.

Алиса засмеялась:

— Вот, верно, достанется от вас де-
ревьям!

— К тому времени, когда драка бу-
дет окончена, — сказал он, — вокруг
не останется ни одного дерева! Ни
одного дерева во всем лесу.

Льюис Кэрролл
«Алиса в Зазеркалье»

А лес? Что будет с ним? Кто даст ответ?..

Не так ли и мы, в пылу яростных споров, в столкно-
вениях оценок, в противоборстве принципов, в благом
стремлении к истине и правде о прошлом сокрушаем все,
что попадаетя «под руку» и «под ногу»? Мы превращаем
прошлое в поле для политических баталий. «Мы слишком
часто осуждаем. Ведь так просто кричать: «На виселицу»
(М. Блок). Да и осуждаем мы, исходя из сиюминутных
потребностей настоящего. Давно ушедших людей и ото-
шедшие в небытие события мы поднимаем из праха и
заставляем играть в наши игры. Зачем? Чего ждать от
такой истории? И как позволительно к ней относиться?

Но прошлое? Что будет с ним? Прошлое оста-
нется, оно — над борьбой и страстями, неуничтожимое,
неподсудное поспешному суду, неподкупное и вечное.
Останется наука, добывающая это знание. Останется
история.

Зачем же все-таки она нужна? Ради чего преодолевает
историк все эти трудности и проблемы? Почему челове-
чество упорно вглядывается не только в настоящее и
будущее, но и в прошлое? Что оно ищет в нем?

Самый общий, но и самый точный ответ предельно
прост: оно ищет в прошлом себя, собственное настоящее.
Прошлое не является мертвым, оно реально, может быть,
более реально, чем настоящее. Оно присутствует в общест-
венных отношениях, представлениях людей, произведениях

культуры, стереотипах восприятия. Человек не волен в выборе своего прошлого. Он не может объявить его несуществующим. «В человеческой природе и в человеческом доме существует некий постоянный фонд. Без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл» (М. Блок). Прошлое, которым пренебрегают, становится опасным. Оно мстит за поругание. «История — что власть: когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость и ценить ее благодеяния» (В. О. Ключевский). И страдать от равнодушного, циничного, нечестного отношения к ней. «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после нас» (Екклесиаст, 1:10). Прошлое чувствительно. Его унижает не только пренебрежение, но и слепое, не мыслью и благородным чувством рождаемое увлечение. Сакрализация прошлого делает его мертвым. Напомним в связи с этим парадоксальное высказывание великого историка: «В нашем настоящем слишком много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории» (В.О.Ключевский).

История потому и является уникальной наукой, что она:

- служит средством самопознания — человечества, этноса, государства, социальной общности, личности, цивилизации;

- обеспечивает сохранение и передачу социальной памяти, этических норм, обычаев и традиций — всего, что делает возможной преемственную эволюцию общества;

- связывает прошлое, настоящее и будущее, в прошлом находя смысл настоящего и открывая завесу будущего;

- проверяет прочность социальных ценностей, отсеивает истинные (следовательно, вечные) от ложных и потому переходящих;

- воспитывает чувства, открывает смысл вечных истин — верности, долга, любви к Родине, преданности, ответственности и честности;

- формирует особую форму общественного сознания — сознание историческое.

Иногда говорят о несформированности исторического сознания общества и в этом видят источник всех бед и проблем. Вероятно, это неверное мнение. Историческое сознание у общества есть всегда — вопрос в том, каково оно. В нем могут преобладать ложные представления,

искаженные факты, подтасованные оценки, оно может опираться на ценности и «истины», по сути своей являющиеся антиценностями и лжеистинами. Такое сознание порождает агрессию и нетерпимость, становится фактором разрушительным и опасным.

История, таким образом, имеет свой смысл и свою сверхзадачу. Нельзя, не сломав что-то важное, какой-то стержень в себе, отказаться от прошлого. Ни отдельному человеку, ни обществу или народу в целом. Не здесь ли лежит разгадка? Не потому ли интерес к истории обост-

ряется в переломные, смутные, драматические времена?

И если история — это путь к себе, к прошлому, к настоящему и будущему, то вспомним еще одну мысль В. О. Ключевского: «Не будем спорить, пока идем; когда придем, пожмем друг другу руки и, быть может, найдем, что не о чем спорить».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта.— М., 1991.— Т. 1—3.
- Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма.— М., 1987.
- Блок М. А. Апология истории, или Ремесло историка.— М., 1986.
- Губман Б. Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций.— М., 1991.
- Гулыга А. В. Искусство истории.— М., 1980.
- Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки// Вопросы истории — 1991.— № 2—3.
- Гуревич А. Я. Теория формаций и реальность истории// Вопросы философии — 1990.— № 11.
- Егоров В. К. История в нашей жизни.— М., 1990.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа.— М., 1991.
- Коллингвуд Р. Идея истории: Автобиография.— М., 1980.
- Одиссей. Человек в истории.— 1989—1991.— Вып. 1—3.
- Лооке Э. Современная философия истории.— Таллинн, 1980.
- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.— М., 1992.
- Тойнби А. Постигание истории.— М., 1991.
- Февр Л. Бои за историю.— М., 1991.
- Цивилизации.— М., 1992.— Вып. 1.
- Шпенглер О. Закат Европы.— М., 1993.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории.— М., 1991.